

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ
МАЯК
НА ДЕЛЬФИНЬЕМ



В. ОСИНСКИЙ МАЯК НА ДЕЛЬФИНЬЕМ



БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ

МАЯК
НА ДЕЛЬФИНЬЕМ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
И ПОВЕСТИ



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1989

ББК 84Р7
О-73

О $\frac{4702010201-249}{078(02)-89}$ 145-89

ISBN 5-235-00511-2

© Издательство
«Молодая
гвардия»,
1989 г.



До Нового года оставалось еще целых полгода или немногим меньше, когда она наконец не выдержала и спросила у мальчика:

— Почему так? Мы играем с тобой там, в роще на холме, и забираемся на деревья, купаемся в речке... ах какая студеная была вчера вода!.. Нам весело, и мне... да, мне очень весело с тобой. Но... иногда ты словно уходишь куда-то... Я вижу тебя, но ты как будто далеко... где-то... и мне туда не добраться... Почему?!

У девочки вздрагивали губы, она теребила косу, перекинутую на грудь, и смотрела на него широко открытыми вишневыми глазами, в которых были стремление

понять, обида и что-то похожее на гнев, хотя какой там может быть гнев в двенадцать лет.

Мальчик не ответил, они молчали, и слышно было, как речка громко перешептывается с громадным темно-зеленым валуном, омывая его, — казалось, они трутся щекой о щеку. Слышна была суетливая перекличка птиц, которые чертили сумеречное небо, будто у них не было еще места для ночлега и они боялись, что ночь застанет их в этом слишком большом небе, и потому торопились.

Солнце зашло сразу, ночь... нет, неправда, что ночь падает на землю, наоборот, летом она поднимается над землей, черно-голубая, высокая, израненная звездами.

Девочке надоело молчание, она обиделась еще больше, но вдруг увидела росчерк падающей звезды и, забыв обо всем, крикнула:

— Смотри... упала звезда! А я опять ничего не успела загадать...

Посмотрела на мальчика и тихо, уже без обиды, просто печально добавила:

— Вот и опять ты где-то... там. И совсем не думаешь обо мне... Постой! — Ее глаза мечтательно засветились. — А ведь у тебя этот... *летащий* профиль! — И честно призналась: — Я прочитала это в одной книге.

Он встрепенулся, сомкнул ладони на затылке, откинул голову, потягиваясь, и улыбнулся. У мальчика были тонкие руки, тонкое лицо, а выражение глаз менялось так неожиданно и удивительно, что всякий раз казалось: перед ней — кто-то другой...

— Когда космический корабль несется в черном вакууме со скоростью, близкой к скорости света, экипаж не замечает движения. И только перед посадкой на планету, при торможении, люди начинают понимать, что такое полет...

Так он сказал вдруг, и на этот раз у него были глаза, которых девочка еще никогда не видела, и что-то в

этих глазах испугало ее, однако тут же уязвленное самолюбие взяло верх над растерянностью.

— Опять! — сварливо всплеснула руками маленькая женщина. — Да где ты, интересно знать, живешь — на Земле или там?! — Она пренебрежительно ткнула измазанным тутовым соком пальчиком в небо.

Мальчик внимательно и — во всяком случае, ей так показалось — с жалостью взглянул на нее...

— И на Земле, и там... — ответил он серьезно, и опять у него были другие глаза, и она по-прежнему не могла бы ответить, в чем тут дело, если б ее спросили. — Слушай, — решительно сказал он и встал с большого поваленного дерева, где они уже третий месяц подряд почти ежедневно встречали вечер. — Я тебе открою одну тайну.

Он стоял перед ней, тонкий и стройный, вытянувшись так, что ноги чуть изгибались плавной линией назад, он смотрел перед собой, словно видел что-то, невидимое ей, и она тоже невольно встала.

— Тайну? — переспросила девочка с любопытством и страхом.

Он опять помолчал, и она, уже начиная привыкать к этой странной манере, терпеливо ждала и даже не злилась.

— Я строю космический корабль. — Голос его прозвучал спокойно.

— Ты?!

— Ну, не совсем я... Его строят... Не обижайся, но ты не поймешь... просто потому, что не знаешь. Хотя в известном смысле его строю и я... Да, в первую очередь — я!

Девочка растерялась, не зная, что ответить. Конечно, он ее разыгрывает, и главное сейчас — достойно ответить. Что ж, она за словом в карман не полезет...

— И где ты его строишь? — Всем своим тоном она хотела показать, что поняла шутку и готова поддержать ее.

— Там, — так же серьезно он показал рукой.

Внизу, за речкой, светились огни поселка, в котором жила девочка. Ближе к реке, рядом с тополями, зеленела поляна, и с первого взгляда было видно: здесь что-то строится. В аккуратную кучу были сложены кирпичи, штабелями громоздились бревна, под грубым навесом хранились свежеструганные доски.

— Там, — повторил мальчик.

Девочка засмеялась.

— Там... — захлебываясь, повторила она. — Там! Но ведь на этой поляне с самой весны строит себе дом тот пенсионер, что каждый день приезжает из города. Он сказал, что обязательно будет встречать в этом доме Новый год...

— Может быть, — сказал мальчик. — Может быть. Но я знаю другое: на рассвете первого января нового года мой корабль стартует с этой поляны в большой Космос.

— Но почему, — продолжала смеяться девочка, — почему именно на Новый год?

— Потому, — ответил он без улыбки, — что каждый Новый год должен приносить человеку Новое. Уже шестой месяц я думаю о моем космическом корабле, и я решил, что он будет готов к старту в ночь на первое января...

Что-то случилось там, в небе. Три короткие вспышки почти слились в одну, а потом огненная полоса вновь разделилась на три ярких росчерка, и вот они погасли, не долетев до горизонта. Вздохнула роща — вздох этот был легким порывом прохладного ветра. И вдруг девочка поверила. А кто он, в самом деле, этот непонятный мальчик? Он появился здесь полгода назад, живет в лесной школе, куда принимают детей, которые давно и, должно быть, тяжело больны... Откуда он приехал? Она ничего не знала и почему-то не решалась спросить, а сам он никогда не говорил о себе. И почему у него *такие*, всегда *другие*, глаза?

Но в это время весело залаяла в поселке собака, ей ответили другая, третья, в лесной школе, невидимой за деревьями, мягко и дружелюбно ударил гонг — сигнал к ужину, и наваждение оставило девочку.

— Хороший будет дом! — упрямо сказала она, кивнув на поляну.

— Нет, — сказал мальчик. — Космический корабль.

...Лето прошло, а осень была еще лучше. Мальчик и девочка, как и прежде, встречались у доброго поваленного дерева, и оно всегда терпеливо ждало их на том же месте, только теперь вокруг была не яркая влажная трава, а сухие багряные листья. Они упали с веток, на которых прожили столько месяцев, но еще не умерли. Они старчески добродушно ворчали, перешептываясь, когда их тревожили две пары детских ног. Мальчик был по-прежнему тонкий, но в нем появилось что-то такое, отчего он казался крепче, его пальцы, когда он брал девочку за руку, помогая ей перепрыгнуть через ямку или взобраться на валун над рекой, уже не обжигали ее руки лихорадочным огнем, — и, понимая, что лесная школа идет ему на пользу, девочка радовалась искренне и простодушно.

Они собирали опавшие листья и плели из них головные уборы индейцев, и тихонько пели вдвоем по вечерам, и бегали наперегонки, и наткнулись однажды на сердитого ежа, чьи колючки были нагружены всякими припасами на зиму; еж не убежал, а долго вопросительно смотрел на них своими стеклянными бусинками и только потом пошел своей дорогой, будто успокоившись, уверившись, что эти двое не сделают ему зла.

Однажды девочка, смешно округляя глаза, рассказала, что, кажется, в поселке появились воры.

— Пенсионер, который строит себе дом, — драматическим шепотом сообщила она мальчику, — жалуется, что у него пропадают строительные материалы! Вчера, например, пропал большой моток проволоки, его при-

везли, чтобы построить высокий забор, и вот, представляешь...

— Зачем высокий забор? — удивился мальчик.

— Как зачем? Чтобы на огород не заходили чужие куры и зайцы из лесу. Он ведь мечтает о большом огороде, где будет расти цветная капуста, и морковь, и...

— Да, — сказал мальчик, — понимаю. Этого больше не будет. Я им скажу.

Строительные материалы действительно перестали пропадать, но девочке не пришло в голову искать связь между этим и словами своего друга.

Они ни разу больше не говорили о космическом корабле. Но иногда девочка замечала, что у него опять те глаза, поразившие и напугавшие ее однажды. Тогда — истинная дочь Евы — она поспешно говорила, теребя его за рукав:

— Посмотри, какая смешная шишка! Наверно, она упала с той сосны и скатилась по склону...

Или что-нибудь в этом роде — и радовалась, видя, что глаза становятся другими, и в них опять отражались веселая речка, красно-золотые листья и ее собственная беззаботная улыбка, а не холодные звезды вверху, которые с каждым днем становились все меньше, как будто ежились от холода, так как зима приближалась.

На поляне перед тополями рос большой нарядный дом. Вокруг него словно из-под земли пробивались маленькие строения — как объяснила однажды девочка, это были курятник, свинарник, крольчатник и еще что-то.

— Я уверена, — решительно тряхнув косичками, заявила она, — что этот пенсионер добьется своего. Уж очень он мечтает о новом доме, чтобы он был готов под Новый год. И о собственных свиньях. Он, говорят соседи, очень любит свиней, и это, пожалуй, понятно, свиньи такие полезные животные!

— Да, — согласился мальчик и невпопад добавил: — Главное, конечно, захотеть.

— А ты умеешь хотеть?

— Умею.

— И потому, — на что-то злясь, мстительно съязвила она, — строится твоя ракета, и ты уверен, что она будет готова к Новому году?

— Да, потому. Только не ракета. Мой корабль будет действовать на основе другого принципа.

— Ну и пусть! — неожиданно закричала девочка высоким и визгливым голосом и сразу стала некрасивой. — Ну и пусть, и лети куда хочешь!

Она побежала вниз, к мостику через речку, уже через минуту с надеждой ожидая, что мальчик бросится ее догонять. Но он остался у поваленного дерева, и если б она видела сейчас его глаза, устремленные в туманное небо, то обязательно расплакалась бы еще горше, потому что она и так уже плакала.

Ребята из лесной школы были приглашены на новогоднюю елку в поселок. Были подарки, был бал, был Дед Мороз.

Мальчик и девочка не разлучались весь вечер. Они танцевали, смеялись, поедали сладости и швыряли друг в друга мандариновыми шкурками. И девочка радовалась, видя, какой он стал крепкий и здоровый, хотя остался таким же тонким и стройным, словно солнечный луч, острым, но мягким лезвием пробившийся летом сквозь крону лесного дерева.

Потом, немного утомившись, они сели рядом у стены и щелкали орехи, и девочка, вдруг почувствовав себя солидной и взрослой, принялась степенно рассказывать ему о том, какой богатый и красивый дом построил себе тот пенсионер на поляне у тополей.

— У него есть даже телевизор! — с восторгом сказала девочка. — Правда, у нас еще не построили рет-

рансляционной станции, но он поставил персональную антенну — огромную, как мачта!

— Послушай, — негромко заговорил мальчик. — Я должен тебе кое-что сказать. — В голосе его была грусть, и девочка невольно притихла и даже не слышала больше веселого шума, который наполнял актовый зал поселковой школы. — Должен сказать... — Мальчик помолчал. — Скоро нас всех, кто из лесной школы, поведут спать... ведь не все еще выздоровели. Мне тоже придется уйти, и... я хочу попрощаться с тобой — наверное, мы больше не увидимся. На рассвете я лечу.

Она не ответила — не знала, что ответить. Потом засмеялась. Замолкла. Снова засмеялась. Конечно, он опять ее разыгрывает. Нет, она совсем не обижается! Это даже интересно, да еще как интересно — словно в книге, которую она недавно прочитала!

— Разрешите пригласить вашу даму? — церемонно спросил мальчик в маскарадном костюме Атоса. Он весь вечер чувствовал себя очень взрослым.

— Сейчас, — сказал мальчик, который строил космический корабль, и протянул девочке руку. — Я оставляю тебе на память подарок. Ты знаешь, где его найти... Ну, прощай. Мне было с тобой хорошо.

Девочка с шутливой торжественностью пожала ему руку — она уже научилась приспосабливаться к его странной манере шутить, — засмеялась и пошла танцевать с мушкетером.

Перед рассветом мальчик вышел из ворот лесной школы. Он спустился с холма, на котором она стояла, легко ступая по белому снегу, дошел до старого поваленного дерева, постоял над ним с минуту, потом нагнулся, что-то положил в ямку под ствол, выпрямился, постоял так еще немного и решительно зашагал к мостику, к поляне, где росли тополя и стоял большой добротный дом, окруженный маленькими строениями — свинарником, крольчатником, курятником и еще чем-то.

Люк космического корабля сам открылся перед ним и мягко задвинулся, когда мальчик вошел. Он сел в кресло пилота, откинулся на его спинку (она тотчас чутко и послушно подвинулась так, чтобы ему было удобно), закрыл глаза и замер в неподвижности.

Потом, медленно подняв тонкую руку, обтянутую серебристой тканью космического комбинезона, он протянул ее к панели и мягко нажал на клавишу.

Послышался тихий и очень, очень высокий звук — его мог услышать только мальчик. Все, кто спал в поселке, а спали все, кроме одной девочки, ощутили несильный плавный толчок — будто вздохнула Земля. Но никто не проснулся.

Девочка, которая не спала, вскочила с постели и бросилась к окну. Высоко в морозном голубом небе первого утра нового года мелькнула едва заметная голубая полоса — чуть ярче и светлее голубизны рассветного неба, — и все стало как прежде.

Примерно к полудню жители поселка, пробудившиеся наконец после долгой и утомительной праздничной ночи, вышли из своих домов, чтобы прогуляться по улицам, залитым морозным солнцем. Вскоре они услышали брань и крики и поспешили к большому нарядному дому под тополями, откуда доносился весь этот шум.

Новый житель поселка показывал на поваленную дюралевую мачту телевизионной антенны и командирским голосом кричал, что он этого так не оставит, что сначала воровали стройматериалы, а теперь неизвестные злоумышленники повалили его антенну, ведь ветра ночью не было, а если б и был, то он не смог бы свалить такую замечательную антенну, она ему обошлась в копейчку.

...Девочка бежала по узкой тропинке к лесной школе. Она задыхалась, и косички хлестали ее по спине.

Ей сказали, что мальчик выздоровел и потому роди-

тели попросили отпустить его домой, вчера пришло письмо, только куда оно делось? Ну, неважно. Он уехал. Странно только, что ни с кем не попрощался. Наверное, встал раньше всех, очень уж соскучился по дому.

Девочка плакала и кричала, что они ничего не понимают. Но то, что кричала плачущая девочка, было нелепо, и ее отвели домой и уложили в постель.

Что ж, прошло время, девочка выздоровела и успокоилась — во всяком случае, все видели, что она успокоилась. Потом прошло еще столько времени, сколько полагается, и она вышла замуж за внука того самого пенсионера, который построил в поселке дом. Этот внук и прежде приезжал сюда вместе с дедом — тогда, когда дом еще строился, но девочка не замечала его, потому что рядом с ней был *мальчик с летящим лицом*. Да и никто его, собственно, не замечал: очень уж он был благовоспитанный и благонравный, а ведь эти качества для того и нужны, чтобы тебя никто не замечал. Он вырос и стал еще положительнее. Он любил смотреть по вечерам телевизор — ведь поваленную загадочным образом антенну давно восстановили — и говорить с женой о жизни и месте человека в ней.

— Главное, — говорил он, — уметь хотеть.

Он ласково гладил ее по плечу и опять смотрел телевизор, и, когда он особенно увлекался тем, что видел на экране, жена потихоньку выходила в свою комнату и что-то доставала из заветного ящика. Конечно, это был подарок мальчика, с которым она играла у поваленного дерева. Но *что* именно это было — я не знаю. Только каждый раз, глядя на *это*, она видела что-то, чего не видели другие, и глаза у нее менялись, и, если бы кто-нибудь заглянул в них — даже днем, при самом ярком солнце, — он увидел бы в вишневых расширившихся зрачках далекие звезды.



ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Две матово-синие полусферы неподвижно лежали на идеально гладкой поверхности бесконечно далекой от Земли планеты. Вурд-5 и Вурд-6 и еще с полтора десятка точно таких же вурдов, каждый сечением около полуметра, безукоризненно отшлифованные, сросшиеся, подобно бородавкам, с телом столь же безукоризненно отшлифованной планеты-матки.

Они не нуждались ни в чем: ни в воздухе, чтобы дышать, ни в пище, как мы ее понимаем, ни в излишнем, на их взгляд, грузе недомолвок, жестов, мимики, интонаций, неизбежных, когда общаются между собой люди...

В синем слепом безмолвии носились голоса мыслей.

Вурд-6:

— Сегодня меня беспокоила наследственная память. Мне снилось...

Вурд-5:

— Забудь. Мы живем для познания. Наш удел — превыше всего. Забудь ненужное.

Вурд-6:

— Мне снились деревья, трава и яркое светило. Оно было так близко, что я ощущал его жар.

Вурд-5:

— Мы знаем все. Деревья и трава — это химические лаборатории, где кислород освобождается от примесей. А светила — гаснут. Мы же — вечны. Наше предназначение — познавать.

— Последний эксперимент не удался: Они уничтожили Посланцев в зародыше.

— Я подготовил новых Посланцев. Их Они обнаружить не сумеют. И тогда будет много смертей, и мы поймем наконец, как устроен Их разум — слабый, нелогичный и ограниченный, потому что он несвободен от чувства. А чувство — что это? Наш удел — познавать.

— Но наша цивилизация — высшая во Вселенной — существует благодаря Им. Светило нашей системы давно погасло, и погасла бы жизнь на планете, если б не мощное излучение с Земли, которое в избытке питает нас энергией.

— И что же? Эта энергия — то, что земляне называют чувствами, творящими добро. Пусть так: энергия действительно могучая. Но познавать — вот высшее наслаждение бытия, и мы должны познать землян до конца. Остальное неважно.

...Синяя смерть достигла Земли около четырех утра, и ее Посланцы рассосались по огромному городу.

Болль погасил только что закуренную сигарету, поднялся, подошел к распахнутому окну, невидяще по-

смотрел на зеленые невысокие горы напротив, крепко провел узкой сухой ладонью по волосам — от затылка ко лбу — и так замер в раздумье. Был он высок и все еще юношески строен, серебряно сед и голову держал чуть закинув назад. Он не мог бы сказать, что работа не ладилась, но и ничего существенного сделано тоже не было. Впрочем, в таком деле, каким он занимался, о результатах, даже самых ничтожных, можно говорить лишь тогда, когда сойдутся в одной точке итоги всего комплекса поисков. Потому что в едином его лице работали сразу несколько Боллей — математик и философ, медик и конструктор, астроном и кибернетик. Задача, которую он поставил перед собой, была столь ошеломляюще грандиозна, что, узнай кто-нибудь об истинном содержании его работы, он бы даже не смог улыбнуться скептически. Здесь можно было говорить о дерзости безумия, о полнейшей безнадежности замысла, о чем угодно, только не о легкомысленности прожектёрства. Ибо подлинное величие мысли при всей ее очевидной иррациональности властно требует поклонения и имеет на него право.

Слетел на подоконник воробей, требовательно зачирикал — и Болль опять вспомнил все. Ему было достаточно любой мелочи, скажем, вспыхнувшей и погасшей спички, чтобы кошмар случившегося вновь и вновь поднимал голову.

Все пять дней, предшествовавших операции, Рой был весел и оживлен, как никогда прежде. В свои девять с половиной лет он достиг вершины блаженства — каждый приходивший его навестить приносил в подарок очередное чудо. Здесь были заводные машины, пистолет, стреляющий пластмассовыми шариками, два набора домино, маленький транзисторный приемник и многое другое, что так доступно и так не нужно нам, достигшим зрелости, но может сделать счастливым ребенка.

Да, Рой был счастлив в своей одиночной маленькой палате, где всегда были те, кто любил его и к кому он сам был привязан, и, разумеется, ни на минуту не задумывался о грозном смысле своей изоляции от других маленьких пациентов больницы. Он просто наслаждался комфортом, вниманием и ласковой предупредительностью близких, одержимых готовностью исполнить любое его желание.

А Болль — он вел себя немногим рассудительнее. Ведь внешне Рой был так здоров и жизнерадостен, так светло (давно этого не было) улыбался приходу отца, что диким казался даже ничтожный намек на мысль о смертельной опасности, которая, возможно, нависла над сыном. И хотя Боллю довольно недвусмысленно дали понять, что такая опасность не исключена, он малодушно отказывался смотреть правде в глаза... Впрочем, очень может быть, что в этом малодушии было заключено подлинное мужество: упрямо отказываясь поверить в худшее, Болль тем самым боролся за сына.

...Только когда бесшумно выкатился за порог палаты белый столик, на котором лежал, вытянувшись на спине, сразу повзрослевший, ушедший в себя Рой, и на чистое детское лицо его легла вдруг тень пугающей в своей неожиданности мудрой отрешенности, — Болль все понял. Потом его взгляд упал на тапочки Роя, аккуратно составленные под кроватью, — и он с ужасающей ясностью внезапно осознал, что Рой их никогда больше не наденет.

Он встряхнулся и вновь принялся за прерванную работу.

Болль не имел ни малейшего представления о существовании планеты вурдов и, конечно, не мог даже догадываться о такой возможности. Участок звездного неба, где она вращалась вокруг своего тысячелетия назад погасшего светила, был давно и тщательно изучен аст-

рономами, и они не находили в нем ничего загадочного. К тому же Болль был настолько одержим своей идеей, что все побочное отметалось им как не стоящее внимания: он видел перед собою одну цель, и только мысли о Рое властно вторгались в сознание — то причиняя жгучую боль, то разжигая в душе яркий костер гнева против несправедливости бытия. Но — странное дело! — боль эта и гнев не только не мешали ему работать, а напротив — с удивительной силой подстегивали мысль, и в такие минуты человек чувствовал, что он на пороге главного и что схватить это — значит достичь желанного.

В бездонной слепой синеве Вурд-5 и Вурд-6 неторопливо обменивались мыслями.

— Ты помнишь, как он весь сжался, услышав первый крик своего детеныша? Я измерил ритмы его сердца и думал, что он сейчас умрет.

— Они называют это любовью. Долгие часы, пока их хирурги боролись с Посланцами, я читал в мыслях Человека одно и то же. Он твердил: «Возьмите лучше меня, лучше меня, возьмите меня, меня, меня...»

— Да, я тоже слышал этот голос. Но того, большого, Посланцы не тронут. Он нужен нам для другой цели. Мы уже знаем: поступками землян руководят разнообразнейшие факторы. Мы должны до конца понять это непонятное чувство, именуемое у них любовью. Пока что нам известно, что ради любви они готовы умереть.

— И, кроме того, в те минуты, когда он твердил «возьмите меня», я испытал необыкновенный прилив энергии...

Болль очнулся от оцепенения, услышав негромкий, пронизанный тревогой голос:

— Нужна кровь. Немедленно!

— Возьмите мою! — откликнулся он.

— Не подходит группа. Надо ехать в институт.

...Он не помнил, как очутился посреди мостовой, как автоматическим движением, совершенно бессознательно успел повернуться боком между двумя троллейбусами и только потому не был раздавлен, как гроздь винограда на ладони.

Все было сделано вовремя и как надо. Однако люди не знали, что они имеют дело с Посланцами. Боллю показали только упругую коричнево-синюю опухоль величиной с большой кулак, которую удалили у Роя: она едва втиснулась в пол-литровую банку. Посланцы, пожиравшие внутренности мальчика, чтобы завоевать себе жизненное пространство, умели маскироваться. И когда в страшную ночь Конца обезумевший от горя Болль схватил хирурга за плечи, стиснул мертвой хваткой, прижал к стене: доктор, отчего?! Отчего же, говорите! — врач поднял на него глаза, в которых плескалась безмерная тоска:

— Я не знаю. Никто пока не знает.

Шли месяцы, и шли годы, и боль, в первое время нестерпимо жгучая, жалящая, как ядовитый укус, смягчилась, сделалась глуше, однако от этого не стало легче: прежде она налетала удушающим вихрем, а потом на время отпускала, теперь же, ровная и неотвратимо цепкая в своем упорстве, жила в нем постоянно.

Болль работал с устойчивым неистовством, и поскольку он был медиком не более, чем все люди той эпохи, а физиком, математиком, кибернетиком — в равной мере, то было бы бессмысленной дерзостью попытаться описать конструкцию аппарата, над созданием которого он трудился. Вот о философской стороне работы Болля (она же составляла центр всей его напряженной умственной деятельности, стержень, на который нанизывалась бесчисленность сложных и очень часто неожиданных умозаключений) мы вправе хотя бы очень коротко поговорить.

Смерть, болезнь, страдание, несправедливость, все то, что портит человеку жизнь или отнимает ее у него, есть зло. Человек может и должен бороться с этим злом, и природа позаботилась о том, чтобы вооружить его для такой борьбы. Она дала ему руки, глаза и мозг. Она вложила в его сердце неумирающую волю к борьбе.

...Нет, Болль понятия не имел о существовании планеты вурдов, которые жили в вечной неподвижности ради одного голого знания, мертвые под мертвенной сенью своего погасшего светила, и питались неистощимой энергией добрых чувств, в избытке рождавшихся каждую секунду на Земле. Но цель свою он видел с отчетливостью, которую можно было бы назвать сверхъестественной, если б днем и ночью, в периоды бодрствования и сна не жило в нем, властно и требовательно заявляя о себе, великое страдание и гнев против бессмысленной жестокости бытия.

Шли месяцы и годы, и Болль строил аппарат, чье назначение состояло в том, чтобы отыскивать зло, под какой бы личиной оно ни скрывалось, и уничтожать его! И пришел день, когда аппарат был готов. Но оставалось одно, увы, чрезвычайно серьезное, препятствие — только устранив его, можно было привести аппарат в действие. Болль не мог найти источник энергии, который был бы вечен, а это он считал необходимым условием, ибо решил покончить со злом во всех его проявлениях не только на Земле, но и в далеком Космосе.

Ночью ему приснился Рой — точно такой, каким он остался жить на последней фотографии: яснолицый, с плотно сжатыми, не по-детски твердыми губами, с глазами, взгляд которых был обращен куда-то в недоступность, весь собранный, словно готовый к схватке со смертью. Потом возник чудовищно громадный скорпион, изогнул черный хвост-жало и, жадно трепеща, потянулся к лицу Роя.

Болль закричал и проснулся. Остро болело в сердце. Он долго лежал, приводя мысли в порядок, и успокаивался.

вал дыхание. Затем привычной чередой потянулся калейдоскоп ассоциаций, странных сопоставлений, неожиданных смысловых нюансов, и вдруг Болль вскочил, одним прыжком оказался у распахнутого окна и вцепился взглядом широко раскрытых глаз в черно-синее звездное небо.

В детстве услышанный и поразивший тогда его воображение пример из биологии вспомнил он — о двух скорпионах, прикрытых одной банкой, обыкновенной стеклянной банкой, и неминуемо вступающих в смертельную схватку. Что ж, если зло не проймешь добром, если первое всегда успешно паразитирует на теле второго, значит...

Аппарат Болля несся в черном вакууме Космоса. Он был послан в свободный поиск, его создатель не задавал ему никакой конкретной программы на маршрут. Но, покинув Землю, аппарат точно лег на курс — к слепому синему провалу в Космосе, где вращалась вокруг погасшего светила планета вурдов. Болль мог не беспокоиться об источнике энергии, необходимой для движения: аппарат сам нанизывался на невидимую жесткую нить излучения холодной равнодушной злобы, в которой было лишь жестокое любопытство насекомого, и излучение это служило ему горючим.

...Сверкнет слепящая вспышка — планеты вурдов не станет. Синяя смерть умрет. И в некогда синем слепом провале Вселенной, к простодушной радости астрономов, чистым жемчужным светом засияет новая звезда.



МАЯК НА ДЕЛЬФИНИЕМ

Он пришел в поселок неожиданно и неизвестно откуда. Это был паренек лет пятнадцати, худощавый и в своей незрелости похожий на жеребенка — из тех, что покорно и вдохновенно откликаются на розовый зов зари, и с полным самозабвением приветствуют звонким ржанием девственно и неправдоподобно алый диск солнца, и бьют аккуратными копытцами в тугую мягкость одетой травой, по-утреннему влажной земли...

Вот такой он был — сероглазый, довольно-таки тощий и удивительно молчаливый. А поселок был маленький, почти весь окруженный океаном, сосны в нем росли как хотели — порой они пробивались сквозь крыши скромных рыбацких домиков, а вокруг маяка стояли

уверенной стройной стеной. Люди здесь жили грубоватые и простые, они верили во всякие чудеса, но никто почему-то не удивился появлению этого паренька, которого, как выяснилось на следующее утро, звали коротким именем Рой, а также тому, что его приютил одинокий старик Вельд. Вельд был когда-то рыбаком не из последних, но состарился и стал зрителем маяка. Правда, работа его не особенно тяготила — корабли проходили здесь редко, — однако он вставал неизменно в пять и шел проверить, горит ли огонь. Люди его любили и уважали, а Вельд был ровным в обращении с ними, не отличался, как большинство других стариков, болтливостью и любопытством. И может быть, именно поэтому он не спросил у Роя, кто он и откуда, просто бросил в угол комнаты охапку морской травы и буркнул:

— Будешь спать здесь... Если хочешь, конечно.

Он всем — даже делая самое доброе дело — говорил так: «если хочешь», потому что был уверен, что никому нельзя давать советов и рекомендаций и побуждать поступать так или иначе. Ведь люди все могут обратить во зло.

Рой стал жить у старика Вельда, и прошло довольно много времени, прежде чем обитатели полуострова заметили, что начали происходить чудеса, а тем более поняли, откуда они идут.

Рой ни с кем не дружил и никого не чурался. Но и эта его черта, всегда вызывающая озлобленность сверстников, не отталкивала окружающих. Его приняли — и все. И почему так получилось, тоже никто не смог бы сказать и не задумывался над этим.

Он помогал Вельду зажигать огонь на маяке, охотно ходил в море вместе с остальными рыбаками, подолгу сидел один на один со старой Вельдовой овчаркой — они молча смотрели друг другу в глаза и, казалось, о чем-то говорили, — в прибой смело катался по волнам на отполированной морем доске, а однажды, ко-

гда его попытался вызвать на драку парень, бывший старше и сильнее его, просто спокойно и пристально посмотрел ему в глаза, и противник Роя сразу как-то съезжился и стал похож на овчарку Вельда — только был, конечно, куда непригляднее...

Рой ни в чем не уступал обитателям Дельфиньего (так он почему-то назывался) полуострова. Только в одном.

Был здесь утес, круто нависший над океаном. Считалось особой доблестью взобраться на него по крутой каменистой тропинке и просто смотреть вниз и вперед на расстилающуюся лазурную гладь или черные гневные валы бушующей воды.

Рой этого никогда не делал. Однажды ему насмешливо бросили:

— Боишься?

И он серьезно и просто ответил:

— Да, я боюсь.

Так ответил неизвестно откуда взявшийся здесь худощавый нескладный паренек, который не боялся уплывать в океан даже при самом жестоком шторме, дружил с дельфинами и свирепыми, по общему мнению, касатками, и как-то, на страх и удивление всему поселку, в течение часа играл с гигантским осьминогом, неведь каким образом заплывшим в бухту полуострова.

Морозным и прозрачным февральским утром гудящий, словно гигантская струна толщиной метра в два, шквал вцепился в рыбацью шхуну, возвращавшуюся к Дельфиньему с богатым уловом скумбрии. Он схватил ее за обнаженные мачты, как мы хватаем нашкодившего котенка, и стремительно поволок к черному горизонту.

Женщины плакали молча и иступленно — они знали, что плачут уже по покойным: еще никто не вырывался из мертвой хватки таких шквалов.

Рой строгал лучину, когда все это началось. Он увидел гибнущую шхуну, выронил широкий нож Вельда и

замер. Он смотрел на лодку глазами, в которых не оставалось места ничему, кроме этих людей, влекомых в осатаневшую бездну.

Шквал умер. Море смирилось. На мачтах шхуны неуверенно забелели клочья парусов. Через полчаса поселок ликовал — на берег вернулись все.

Утром Вельд, вопреки обыкновению, обратился к Рою с вопросом, который он всегда считал праздным:

— Ты хорошо спал?

И Рой слабо улыбнулся и сказал в ответ:

— Так себе.

Он выглядел осунувшимся и в тот день не плавал.

Через месяц заболела Милл — двадцатилетняя голубоглазая жена Ирра, старосты той рабочей артели, что считалась лучшей и самой удачливой на Дельфиньем. Приезжал молодой рослый профессор и сказал коротко:

— Я ничего не могу сделать.

Ночью скромное ложе Роя пустовало — он бродил вокруг дома, где металась в смертной муке золотоволосая Милл. Под утро хрупкое тело женщины изогнулось дугой (и Ирр, ее муж, заломил в последней тоске сильные руки), потом она обессиленно откинулась навзничь, и вдруг улетел лихорадочный жар, и по-новому — по-здоровому — зарозовели щеки Милл, и ровным и глубоким стало ее дыхание, и она уснула, чтобы проснуться здоровой.

Три дня не вставал Рой со своей постели из морской травы и почти неделю потом не участвовал в забавах своих сверстников. Вельд ни о чем с ним не говорил.

...Ну а дальше, чтобы не быть слишком многословным, я скажу только, что чудесным и непостижимым образом сумел уплыть от страшной акулы мальчуган, сдурку купавшийся в штиль под Каменистым обрывом (это место всегда считалось нехорошим); непонятно от чего дрогнула рука давно разыскиваемого бандита — непревзойденного стрелка, — и остался жив старый Вельд, чья жизнь неизвестно зачем понадобилась этому волку;

еще одна шхуна с огромной пробоиной в днище и с двадцатью семью рыбаками на борту, вопреки всем правилам логики, сумела достичь берега.

Много было такого в жизни Дельфиньего с тех пор, как на этом богом забытом полуострове неведомо откуда и как появился сероглазый паренек с очень коротким и четким именем Рой. И старый Вельд ни о чем не спрашивал, а Рой становился все более бледным и тихим.

И вот чем это все кончилось.

Под вечер, когда стих свежий ветер, двое суток дувший с юго-запада, и океан был спокоен и гладок, и утомившиеся за день чайки закончили обычную перебранку, подростки затеяли свою любимую игру — принялись наперегонки взбираться на тот самый утес, которого почему-то боялся Рой. И случилось так, что парень, однажды едва не подравшийся с Роем и присмиревший от одного взгляда его спокойных серых глаз, споткнулся на обрывистом повороте тропинки и, словно повиснув на одно жуткое и томительное мгновение в липком вечернем воздухе, стал медленно падать на острые иглы скал, растущих под проклятым утесом.

Никто из очевидцев не смог потом рассказать, как успел Рой взлететь на утес. Никто — до поры — ничего не понял. А Рой именно взлетел — и парня, падавшего на скалы, словно подхватил непонятно откуда налетевший ветер. И понес в сторону, к океану, и через минуту этот парень, целый и невредимый, только слегка оглушенный, подплывал к берегу.

Видимо, тот же порыв ветра чудовищным языком слизнул Роя с вершины утеса. Но упал он не в море, а прямо на иглы скал.

Вельд, который первым о чем-то догадался, крикнул в окровавленное лицо паренька, неизвестно откуда взявшегося на Дельфиньем:

— Почему?! Ведь ты помогал всем! Почему ты не помог себе?

Рой успел ответить. Он сказал:
— Я... уже... не мог. Все... растратил.
Рою не поставили памятника. Его запомнили и так.

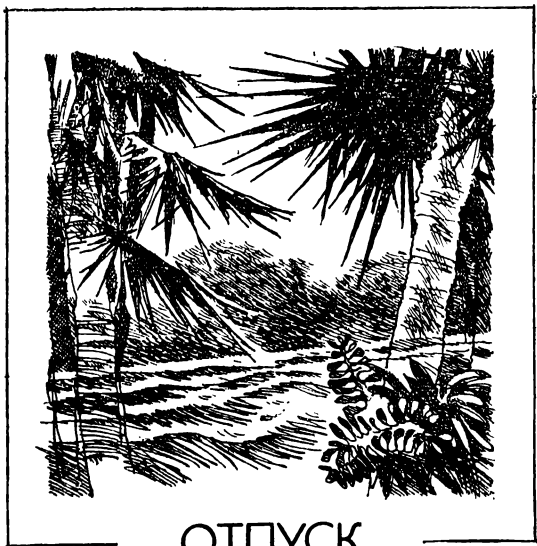
* * *

Давно умер старый Вельд, давно не загорался огонь на маяке, потому что люди изобрели тысячи совершеннейших средств, обеспечивающих безопасное плавание...

Как-то все эти средства отказали (выяснилось потом, что прибыл на Землю корабль из созвездия Бурлящей Мглы) — именно в тот час, когда к полностью преобразившемуся за века Дельфиньему с огромной скоростью летел трансатлантический лайнер на воздушной подушке. Он летел прямо на рифы — приборы отказали.

И вдруг, как многие десятилетия назад, на заброшенном маяке вспыхнул яркий спасительный огонь, хотя там никого не было. И люди почему-то вспомнили Роя.

1968



ОТПУСК НА ЗЕМЛЕ

*Людские жизни — это молодые
деревца в лесу. Их душат вьющиеся
растения — старые мысли и убежде-
ния, посаженные теми, кто давно
умер.*

Шервуд Андерсон. Семена

Он решил провести отпуск на Земле, и никто этому не удивился. Земля была родиной Гиги Квеса.

Правда, та межзвездная, с которой улетели его родители и он, стартовала, когда ему не исполнилось еще и полугода. Однако отец и мать так часто — и начали они это делать так рано — говорили, что Утренний лес для их семьи всего лишь вторая родина, пусть она щед-

ра к людям и прекрасна и очень похожа на Землю, а жизнь на ней устроена даже разумнее, правильнее, но первая, настоящая — все-таки Земля... Возможно, с их стороны было не слишком благоразумным, скорее даже опрометчивым поступать так. Как бы то ни было, но все тридцать с немногим лет своей сознательной жизни Гиги Квес мечтал побывать на Земле. Он мечтал ощутить ее подлинное живое дыхание, услышать ее голоса, увидеть и — вспомнить, да, именно *вспомнить*, ибо порою ему казалось, что тот беспомощный комочек жизни, каким он покинул свою настоящую родину, унес в себе пусть невнятные, не поддающиеся определению, почти неуловимые, но несомненно земные формы восприятия бытия. Говоря же попросту, это была ностальгия.

Гиги Квес был по профессии Фантазер. В созвездии Большого Пса, кроме Утреннего леса, обитаемых миров видимо-невидимо, и работа Фантазера состояла в следующем: он посещал все новые планеты, а потом рассказывал о них людям.

Какие они, эти миры, какими были или будут через сто, тысячу, сто тысяч лет? Какими могли быть, если бы... Вот что его занимало, и рассказывал он об этом всякий раз по-разному. То сочинял повесть, пьесу или поэму; то писал большую картину или серию рисунков; то выражал свои мысли в музыке; то снимал голографический фильм; то, наконец, лепил один-единственный скульптурный портрет одного-единственного аборигена какой-либо планеты и ухитрялся выразить в нем и вчера, и сегодня, и завтра.

Словом, Гиги Квес назывался Фантазером — обыкновенная профессия, такая же, как штурман сверхсветового звездолета, наладчик машины времени, водитель междугородного вихрелета и даже рядовой инженер — синтезатор пищевых белков. С одной только разницей. Среди штурманов, наладчиков, водителей, инженеров почти все были хорошими. Из тысяч выбравших себе профессию Фантазера получался один хороший.

Гиги был *очень хорошим* Фантазером и именно потому пожелал не просто побывать на Земле, а увидеть ее такой, какой она была несколько веков назад.

Для чего ему понадобилось прошлое?

На это легче легкого ответить другим вопросом: чем, собственно, могла его удивить Земля, находящаяся на одном с Утренним лесом временнóм отрезке? Ведь, как известно, все миры Сообщества развивались по одним и тем же законам.

А почему — то место, которое выбрал? Здесь, в приморском городе, много столетий носящем свое имя, родились родители Гиги и он сам... В принципе синхронное перемещение во Времени-Пространстве не представляло особой сложности. Но эта двойная операция еще не была отработана в совершенстве, и не исключалась неточность в пределах плюс-минус нескольких десятилетий. Так что в наши дни Фантазер с Утреннего леса попал в общем-то случайно.

Ребята из экскурсионного бюро поработали на славу. Он в самом деле ощущал себя Георгием Квеселова — 32 лет, неженатым, беспартийным, художником-ретушером республиканской газеты, — когда подошла наконец его очередь получать курортную карту. Девушка, сотрудник дома отдыха, улыбнулась ему, мимолетно отметив: «А он ничего... хотя седой почти». Неизбежная в пространственно-временных путешествиях метаморфоза не коснулась, однако, личности Гиги Квеса. Он остался самим собой — неисправимым мечтателем, из тех, кого мы называем беспечными, или «не от мира сего», или, когда злимся, непутевыми и даже беспутными. Иначе не могло быть; иначе Прекрасное и Мудрое оставалось бы для него непостижимым, отгороженным глухой стеной рационализма, аналитичности все и вся препарирующей мысли.

В первый же день Фантазеру пришлось выслушать

строгое внушение официантки Вали — он явился в столовую за десять минут до окончания обеда. В противоположность Вале ее сменщица Этери работала весело и была неизменно приветлива и доброжелательна ко всем, даже к полоумной, кокетливой, невероятно капризной девятиностолетней экс-балерине, вдове одного известного человека. Некоторое время спустя Гиги узнал, что у Этери болен муж и вообще ей живется далеко не так легко и весело, как мог бы подумать невнимательный человек. Она никогда не отчитывала его за нарушения режима дня, хотя они становились все более частыми, только шуточно изумлялась:

— Господи, кого я вижу! — и, убегая, скороговоркой обещала: — Я сейчас! Я на кухне попросила, чтоб с огня не снимали...

Честно говоря, Земля несколько разочаровала Гиги.

Конечно, он был в известном смысле избалован богатством все новых и новых впечатлений, которыми щедро одаривали его планеты системы Сириуса — ведь, как уже упоминалось, большая часть жизни Фантазера состояла из космических путешествий.

Он давно свыкся с бесконечным разнообразием форм существования живой и неживой материи. Его не мог поразить вечный мертвый холод Айсберга-1 после двухнедельного пребывания на раскаленном добела Огненном шаре; не восхищали уже ни поющие цветы планеты Большой сад, ни наделенные зачатками интеллекта ползающие скалы мира Живых камней; не удивляли... Была ли ностальгия единственной причиной, побудившей Гиги Квеса отправиться, после долгих колебаний, в отпуск на Землю? Не удивляться... Может ли быть что-нибудь страшнее для человека, родившегося Фантазером?

И вот он на Земле, но чем Земля, почти полный двойник Утреннего леса, могла его удивить?

Гиги упрямо твердил себе: «Вот ты и встретился с настоящей родиной! Вот она — у тебя на ладони, принявшая с материнской любовной простотой и мудрой доверчивостью. Так смотри же и слушай — вспоминай! Дыши одним дыханием с ней, осязай ее, пробуй на вкус соленую морскую воду, заройся лицом в пахучую густую траву, разотри в пальцах кисловатую терпкость сосновых игл...»

Слова оставались словами, абстракция не обретала живой плоти. Шли дни, а он воспринимал Землю подлинную не более как ту, о которой ему долгие годы рассказывали видеокнижки. Это было похоже на телефонный разговор, когда узнаешь голос близкого человека — и острее ощущаешь тоску разлуки; как телевизионное изображение, где все внятно и все ненастоящее.

Однажды он вышел ранним утром на балкон, и привычно, одним широким взглядом, охватил все вокруг, и впервые подумал: «Что ж, ничего не скажешь — умный и, наверное, добрый человек выбрал это место для отдыха. Здесь и впрямь хорошо...»

Здесь было великолепно.

Светлые корпуса дома отдыха стояли на крутом склоне небольшой горы — форпоста величественного хребта, чьи черные, такие острые пики, что даже вечные снега не держались на них, невидимые отсюда, где-то там, на севере, пронзали высокие облака. Внизу, сквозь тронутую октябрьским багрянцем, но в общем еще ярко-зеленую листву, голубело, синело, зеленело, чистой бирюзой сияло под первыми солнечными лучами совсем близкое море, которое кто-то когда-то несправедливо окрестил Черным.

Все было прекрасно: и парк, и горы, и море, и прозрачное небо. Но он вдруг ощутил чувство, которое было ему уже знакомо, пусть и не очень, потому что приходило всего несколько раз в жизни.

Впервые это странное чувство посетило его в возрасте шести или семи лет — и он испугался.

Мать, обеспокоенная необычной молчаливостью мальчика, с тревогой всмотрелась в его вдруг потускневшие глаза и, видимо поняв, тихонько вздохнула. Отец рассмеялся:

— Ничего особенного! Ему просто стало скучно. Ведь он — землянин, не забывай... Это пройдет.

Коренные жители Утреннего леса не умели скучать.

И вот после многолетнего перерыва, до предела заполненного работой, Гиги Квесу, зрелому мужчине, признанному Фантазеру высшего класса, стало скучно. Он понял, и ему сделалось страшно, потому что это была не просто скука, но вместе с ней и одиночество (этого слова тоже не знали те, кто родился на Утреннем лесе).

За завтраком Гиги впервые пригляделся к соседям по столу; до сих пор он ограничивался вежливым «доброе утро», или «здравствуйте», или «приятного аппетита», и ему отвечали тем же.

Сегодня он сказал:

— Простите, но... Не правда ли, странно, что мы до сих пор незнакомы? Меня зовут Георгий Квеселава.

Он скупко рассказал о «себе». Они доброжелательно слушали. Это были муж и жена, оба старше Гиги.

— А я — Тамара Георгиевна. Между прочим, ваша землячка, только давно переехала в столицу... Все из-за него, вот этого мрачного человека.

— Федор Михайлович, — представился «мрачный человек».

Они, в основном Гиги и женщина, поболтали несколько минут. Потом Тамара Георгиевна спросила:

— Вы играете в нарды? Замечательно! Понимаете, дома у меня нет партнеров... Теперь я вас в покое не оставляю. А в порядке компенсации покажу нечто любопытное. Вы сейчас отдыхать? Нет? Я так и думала. Если на море — идемте с нами.

Они спустились по серому серпантину асфальтовой дорожки, струившейся между деревьями и кустами к

выходу, миновали ворота, пошли к лестнице подземного перехода, ведущего на пляж.

— Дальше, — сказала Тамара Георгиевна, когда Гиги привычно свернул в сторону перехода, над которым проносились по шоссе автомашины, троллейбусы и постукивали по рельсам, проложенным на невысокой насыпи, поезда. — Тут всего несколько шагов... — И почти сразу: — Поглядите-ка!

Он не сразу понял, что перед ним — не встречал такого ни на Утреннем лесе, ни на одной из культурных планет; на тех же, где для живого не было места, и недавно. Потом взглядом, обретшим обычную цепкость профессионального Фантазера, уверенно охватил причудливую и тем не менее законченную картину.

Гигантской змеей одно дерево сжало в объятиях другое, накренившееся под углом градусов в сорок пять. (Я говорю: «одно дерево», «другое», потому что художник, писатель, композитор, скульптор Гиги Квес, к великому своему стыду, никогда не запоминал названия растений, птиц, цветов, насекомых. Он, как уже было сказано, просто бездумно и жадно впитывал в себя все останавливающее его внимание и достойное воплощения в образы). Стволы обоих деревьев до высоты примерно четырех метров от земли были лишены веток. Дальше начиналась густая зеленая крона.

— Смотрите внимательнее! — потребовала женщина. — Вы обязаны разобраться, что к чему. Ведь вы художник...

— ...Ретушер, — машинально поправил он, а сам обнаруживал все более удивительные подробности.

Дерево, сжатое мертвой хваткой другого, было лишено не только ветвей — даже коры... А то, змееподобное, толщиной в телеграфный столб, заметно сплюсцивающееся в местах, где оно особенно плотно прижималось к своей жертве, высоко над землей словно взрывалось в буйном расцвете жизненной мощи. Гиги тихоноcko присвистнул. «Именно жертва!» — внутренне

воскликнул он, когда что-то заставило его сунуть руку в труху прошлогодних листьев у основания того, «другого» дерева: ладонь, легко преодолев слабое сопротивление, прошла между основанием ствола и землей! То было уже не дерево — мертвое голое бревно.

— А теперь выше и правее!.. — приказала Тамара Георгиевна.

Он послушно проследовал взглядом за ее рукой и увидел два длинных гибких щупальца, которыми, выбросив их высоко вверх и далеко в стороны, хищник обнял стволы двух соседних деревьев. Они казались вполне здоровыми и сильными. Но, присмотревшись внимательно, можно было обнаружить явные признаки начинающегося угасания — на двух-трех ветвях заметно пожухли преждевременно умершие листья; они выделялись в веселой массе яркой зелени, как одинокие седые пряди в волне пышных, блистательно черных женских волос.

— Я вижу, вы в самом деле не простой художник, а художник-ретушер, — поддразнила женщина Гиги. — Ну разве не позорно так мало знать о земле, на которой живешь?! Хищник — это глициния, та самая милая вьющаяся красавица, которую мы разводим на балконах наших квартир. А несчастная жертва — не что иное, как воспетый поэтами красавец южных лесов... Вспомните: «стройный, как кипарис». — Дурачась, она добавила: — Видите, до чего доводит чрезмерная доверчивость? Наверное, этот увлекающийся тип, тогда еще восторженный юноша, был пленен нежной, такой прелестной в своей беспомощности глицинией и робко предложил ей руку и сердце. Она же благосклонно приняла и то, и другое. А со временем, привыкнув брать, ничего не давая, отняла у этого постаревшего влюбленного дурака и все остальное — вплоть до самой жизни... Будьте осторожны с женщинами, молодой человек!

— М-м... вот именно! — неожиданно провозгласил

Федор Михайлович, который со времени завтрака не проронил ни слова.

— И он сорвал со своих уст печать молчания! — констатировала Тамара Георгиевна. — В чем дело? Уж не представил ли ты себя, Федя, бедным обманутым кипарисом?

Но Гиги видел, что, несмотря на многие годы совместной жизни, эти немолодые люди любили друг друга по-прежнему нежно и глубоко. У него было легко на сердце. «Я просто слепец, — думал он позже, заплыв довольно далеко и лежа на спине в ласковой упругой воде. — Нет, я обыкновенный дурак, потому что целую неделю и пальцем не шевельнул, чтобы почувствовать и вспомнить Землю. Я лишь ждал, когда это придет само собой... Люди — вот что мне нужно!»

Люди не заставили себя ждать.

— Гражданин! — хлестнул по ушам мегафонный голос. — Вы почему нарушаете? А ну вертайтесь за буюк!

Гиги открыл глаза, зажмуренные от солнца, и увидел коричнево-черного пожилого дядьку в плавках и капитанской фуражке; в непосредственной близости от Фантазера с планеты Утренний лес описывал неумолимо сужающиеся круги крохотный катерок с красной надписью «Грозный» на белом борту.

— Ладно! Вертаюсь! — весело крикнул Гиги и стремительным кролем поплыл к берегу.

У него вошло в привычку вставать до подъема, чтобы, сбежав по крутым лесенкам и тропинке к выходу из парка, перелезть через забор, ограждающий пляж дома отдыха, заплывать далеко в море без риска услышать неизменные «Не нарушайте!» и «Вертайтесь за буюк!». Он все чаще опаздывал на завтрак, вызывая соответствующую реакцию со стороны Вали или Этери.

В восемь вечера был ужин, после него крутили кинофильмы.

Между ужином и киносеансом в небольшом холле играла музыка — это механик включал магнитофон, — и некоторые танцевали.

Однажды в это время Гиги курил на широкой веранде перед входом в холл, беседуя о всякой всячине со знакомыми, которых у него насчитывалось уже довольно много. Увы, наш герой закурил в первый же день пребывания на Земле, после первого же завтрака, случайно оказавшись рядом с одним из отдыхающих и уловив аромат крепкой сигареты. Итак, он увлеченно спорил со своими собеседниками на волнующую тему о том, какой именно теплоход пришвартовался недавно в порту — «Россия» или «Грузия», когда чья-то легкая рука легла ему на плечо, и он ощутил в руке собственной тепло на редкость нежной узкой ладони, и не успел опомниться, как очутился в холле, среди танцующих пар.

Он вдруг обнаружил, что его ноги с неизъяснимой легкостью передвигаются в такт неторопливой мелодии по светлому, разрисованному под паркет пластику; что на свете существуют необыкновенные, воистину чудесные вещи — такие, например, как гибкая, живущая какой-то непостижимой жизнью талия, выражающая под его рукой одновременно полную покорность и совершеннейшую независимость; что щекочущее прикосновение пахнущих апельсином мягких каштановых волос склонившейся к его плечу головки рождает полнейший хаос в мыслях и что, наконец, мерцающие золотые искорки в огромных карих глазах, неподвижно глядящих прямо на него и в то же время словно насквозь, туда, где сливается с черным небом черное ночное море, неизмеримо ярче мириадов звездных миров, встречавших и провожавших его в многочисленных межпланетных полетах.

В зале они сидели рядом, и он шепотом спросил:

— Как вас зовут?

— Наталй, — ответила девушка, в свою очередь склонившись к его уху.

Он удивился:

— Но почему? Может быть, Наталья? Наташа? Натела?

— Нет, Натали! — упрямо тряхнула она головой. — Так интереснее. — Потом смущенно добавила: — А вообще-то — Натела. Но так мне больше нравится...

Кто-то из сидящих за ними сказал иронически-добродушно:

— Извините, молодые люди, но там, на экране, начали стрелять... Интересно, кто кого?

Гиги Квес проводил Натали-Нателу до ее корпуса, потом долго ходил по слабо освещенным аллеям парка и думал, думал... Но вы глубоко ошибетесь, вообразив, что он думал о девушке. Она просто жила в нем, как живет в человеке непреходящее чувство тихой и светлой радости, открывшейся ему когда-то давным-давно, в детстве или ранней юности, зеленым прозрачным утром, — живет и звучит то еле слышно, то во весь голос.

А думал Гиги вот о чем:

«Неужели они там, на Утреннем лесе, в чем-то ошиблись, готовя меня к отпуску? Но этого не может быть! Такого еще не случалось!.. Почему же я тогда *вспомнил*, что я не Георгий Квеселава, редакционный художник-ретушер? Почему я все чаще, а сегодня особенно отчетливо, чувствую, что я Гиги Квес, и мне приходится делать усилие, чтобы не выдать себя? Почему я сейчас как воочию вижу Утренний лес и, кажется, даже тоскую о нем?» — «...Ну, это понятно, — вступал в разговор Фантазера с самим собой трезвый, рассудительный голос. — Ведь ты вырос там... Здесь ты только в отпуске, это как запрограммированное сновидение, не больше. Еще десяток дней, две с чем-то сотни часов, четырнадцать с половиной тысяч минут — и все кончится, все вернется и пойдет по-прежнему...»

«Но я не хочу! Я вспомнил и полюбил этот мир... Нет, — печально возражал он себе, — я все еще лишь пытаюсь вспомнить и полюбить. Я похож на человека, который ощупью пробирается через погруженную во мрак комнату: руки заменяют мне глаза, я касаюсь предмета — и не могу сразу понять, что это, только догадываюсь, таит эта вещь в себе опасность или она друг мне...»

«О какой опасности ты говоришь? — недоумевающе спрашивал тот, рассудительный. — Ведь на Утреннем лесе это слово давно забыто. Ты не встречался с так называемой «опасностью» ни разу, даже в космосе, даже на самой дикой планете... Ее просто не существует — никакой! Тебя не подстерегают ни смертоносный вирус, ни авария в скафандре, ни нервный шок, вызванный чрезмерно сильным чувствованием. Там, где ты вырос, сформировался, живешь, нет места скуке, разочарованиям, тоске по недостижимому, ибо там царствует Гармония... Так потерпи же немного. Пройдет неделя, чуть больше, — и ты вернешься в настоящий мир. А если стало неважно, то достаточно лишь решения, четко выраженного желания — и *это* кончится в ту же секунду... Все предусмотрено, и слово за тобой».

— К черту! — с неожиданной злостью громко сказал он вслух. — «Предусмотрено!» «Не грозит!» «Гармония»!.. К чертям собачьим! Я хочу сам разобраться во всем!

Он стремительно шагнул в круг света, очутился у дверей корпуса, в котором жил, и едва не столкнулся с Тамарой Георгиевной.

Должно быть, она слышала последние слова Гиги, потому что погрозила пальцем и сказала нараспев:

— Берегитесь глицинии, мой друг!

«Верно, видела, как я танцевал», — без особой, впрочем, досады подумал он и ответил в том же тоне:

— Постараюсь! А вот как это вы решились вый-

ти на прогулку в такой час и одна, без своего повелителя?

Что-то, вероятно, прочла она в его лице и, продолжая шутку, воскликнула:

— Бог ты мой! В самом деле — куда это меня несет?! (Тамара Георгиевна была серьезным человеком, физиком, работала над какой-то важной проблемой, но о работе своей никогда не рассказывала, и Гиги ни о чем не спрашивал: на Земле было неспокойно). — Вот что, — беззаботно предложила женщина, — идемте-ка сыграем в нарды. Если вы свободны, конечно.

И он охотно пошел, и они просидели в небольшом холле корпуса до часу ночи. Тамара Георгиевна, лишенная, как она жаловалась, практики, тем не менее выигрывала партию за партией — «брала измором», тщательно отсчитывала пальцем на доске число выпавших очков. Гиги же, достойный партнер отца, экспортировавшего на Утренний лес эту нехитрую увлекательную игру, сражался азартно, как фокстерьер в погоне за кошкой.

Они расстались добрыми друзьями. Наутро Тамара Георгиевна со скрытым лукавством сказала:

— А Федор Михайлович что-то плохо спал сегодня... На печень жалуетя.

Гиги встретил его в душевой и осведомился о здоровье.

— Теперь ничего... — неопределенно буркнул тот и ни к селу ни к городу мрачно заключил: — Пожалуйста!

Неужно было быть Фантазером, чтобы догадаться, в чем дело. Гиги стало смешно, а вслед за тем грустно: на Утреннем лесе не знали ревности — брачные автопрогнозисты исключали возможность возникновения такого чувства.

Но он очень весело и хорошо провел этот день. Учил плавать Натали-Нателу. Потом, охваченный внезапным духом соперничества, мысленно бросил вызов лучшим

пловцам, заплыл дальше всех и вновь получил сразу два нагоняя — сначала от старика в плавках и капитанской фуражке, а за ужином от подавальщицы Вали.

У Гиги появился новый друг. Это был человек шести лет от роду по имени Илька, вместе с отцом и матерью приехавший на юг из далекого северного города.

То ли не ладилось в этой семье, то ли родители придерживались каких-то особых взглядов на воспитание, так или иначе, но они уделяли Ильке довольно мало внимания. Конечно, он всегда был вовремя накормлен и опрятен в своих синих трусиках и новомоднейшей, в обтяжку, майке с четырьмя веселыми физиономиями на груди, — особенно они веселились, когда Илька расправлял худенькие плечи и ткань растягивалась. Еще на майке были написаны два слова: «Abba» и «Waterlloo».

— Что это? — спросил Гиги.

— Это такой... такой знаменитый квартет. Они играют, поют... Правда, я не слышал, — честно признался Илька. Немного подумал и великодушно предложил: — Вам нравится? Тогда возьмите!

Это был поистине царский жест — все остальные мальчишки от зависти умирали при виде замечательной майки.

Гиги с сомнением повел широкими плечами. Он был глубоко растроган. Мальчуган понял и с неподдельным сожалением протянул:

— Да, конечно...

— Все равно спасибо, — сказал взрослый. — Большое спасибо!

Он научил Ильку прыгать «ласточкой» с невысокого волнореза, они часто гуляли по роскошному парку, и мальчуган день за днем раскрывал перед Фантазером с Утреннего леса таинственный мир земной природы, которого тот прежде почти не замечал.

Илька познакомил Гиги с большим пауком, обычно

неподвижно сидящим в центре сплетенной с ювелирной тонкостью сети, повисшей между двумя елями. Когда солнце пригревало особенно сильно, паук прятался в тени; но стоило коснуться травинкой натянутой серебряной нити — и он стремительно выскакивал из своего убежища.

Однажды, шутки ради, Гиги бросил в паутину кусочек хвои. Паук мгновенно очутился рядом, потрогал мохнатыми лапками, попробовал на вкус и — явный враг вегетарианства — принялся поспешно перерезать паутину вокруг, не успокоившись до тех пор, пока бутафорская добыча не упала наземь. Потом быстро и тщательно устранил повреждения и вновь затаился в тени. Казалось, он проделал всю эту операцию не без раздражения, и Илька, словно подтверждая, с мягкой укоризной заметил:

— Зачем вы так? Он злится...

Это была дружба равных. Ее многие заметили, и у людей становилось теплее на сердце, когда они встречали высокого стройного человека и хрупкого мальчугана, шагающих по тенистой аллее, или видели их прыгающими с волнореза в спокойную бирюзу моря.

Ему же, Ильке, Гиги Квес был обязан другим чудесным, неведомым прежде зрелищем.

Черный дятел, неутомимый труженик, добросовестный лесной санитар, обрабатывал ствол огромной сосны там, где парк незаметно переходил в первозданность дикорастущих деревьев. Было очень забавно наблюдать за тем, как, отделив от ствола мощными ударами длинного железного клюва внушительный кусок больной коры, дятел зависает вниз головой, удовлетворенно провожая его взглядом в падении с двадцатиметровой высоты... Вслед за тем раздавалось деловитое негромкое постукивание — «санитар» принимался за честно заработанный завтрак.

А еще нашему герою пришлось вторично полюбоваться на хищную глицинию с задушенным кипарисом, и

он терпеливо выслушал Илькину интерпретацию этого явления. В устах ребенка оно приобретало поистине зловещую окраску: дети любят страшные сказки. У Ильки выходило примерно следующее: коварные глицинии тем только и заняты, что охотятся на простофиль кипарисов... Скрыв улыбку — ведь в сущности то же, пусть иначе, сказала, дурачась, Тамара Георгиевна, — Фантазер не стал покушаться на прелесть мальчишеской выдумки. Но пришло время — он пожалел об этом...

Как-то, спускаясь поутру к морю, Гиги услышал горький плач, сопровождавшийся легкими повизгиваниями и выражавший полнейшую обреченность. Он замер на полушаге, огляделся и увидел сидящего в траве Ильку.

— О-ой-ей-ей! — тихонько подвывал тот, разглядывая ладошку, из которой тоненькой струйкой сочилась кровь. Одним прыжком очутившись возле мальчика, Гиги встревоженно спросил:

— Что случилось?

Малыш оборвал плач и молча показал руку. Это была пустяковая царапина: бежал, видно, напрямик по склону, срезая путь, поскользнулся, схватился за первое попавшееся, а оно оказалось колючим.

— Ерунда! — произнес Гиги убежденно. — Заживет — и не заметишь как. — У него не было никакого опыта обращения с детьми. Но что-то (может, просыпающийся инстинкт отцовства?) безошибочно подсказало ему линию поведения: — И не стыдно тебе? Не девчонка ведь.

— Да-а... — по инерции всхлипнул Илька; ему явно не хотелось так, запросто отказываться от трагизма своего положения. — А потом как станут резать!

— Куда же еще резать? Ты и сам неплохо постарался! Ну, пошли.

И Илька неуверенно заулыбался сквозь слезы, а че-

рез полминуты они дружно бежали в медпункт, чтобы промыть ранку и залепить пластырем.

Пожилая женщина-фельдшерица (Гиги знал, что она одинока), не раз с неодобрением проезжавшаяся насчет «некоторых родителей, которым и дела нет до своего сына», с горечью заметила:

— Вот... Кому бог детей дает — тем будто и не нужно. Разве справедливо?

Вечером Натали-Натела (они стояли у перил смотровой площадки, глядя на далекие огоньки в море) ревниво сказала:

— Вам не скучно проводить столько времени с ребенком? Конечно, он очень славный, только...

Гиги понял, что означает это «только», — и весь внутренне подобрался. До конца отпуска оставалось совсем немного.

А девушка неожиданно спросила:

— Почему вы седой, Георгий? Это... говорят, так бывает после сильных потрясений, ну, потери... потери близкого?

— Да нет, — отмахнулся он. — У нас просто порода такая. Вот и отец тоже рано поседел.

Глухо ударило со стороны моря. Еще и еще.

— Неужели гроза? — встревожился женский голос за спиной. — Испортится погода — пропал отпуск! И ведь три дня всего до отъезда, а у нас морозы уже...

— Нет, это не гроза, — Гиги узнал голос Федора Михайловича. — По-моему, это маневры.

— Здесь? Сейчас? Но зачем?

— А затем... — Тамара Георгиевна не договорила. За нее не нужно громко продолжил культмассовик дома отдыха, самоуверенный молодой человек со жгучими черными глазами, которого Гиги невзлюбил с самого начала:

— Вы что же, граждане, газет не читаете? А ведь они, — в его голосе зазвучали интонации профессио-

нального остряка, — они довольно часто сеют разумное, доброе, вечное... — И с готовностью зааплодировал себе неподдельно веселым смехом. — У них — новая бомба, разве не знаете? Хотя, — массовик приосанился, — мы ведь тоже не лыком шиты! Мы им, если надо будет, покажем!

Гиги гневно обернулся. Уж он-то знал, чего стоило людям все это: и что человечество выжило, и что настала Эра Больших Полетов, а за ними — Великих Контактов, и что существует Утренний лес, и... Он встретил спокойно-проницательный взгляд Тамары Георгиевны. Женщина коротко, ласково кивнула и тихо сказала:

— Не стоит. Просто глуп. Правда, и такие отнимут у нас много сил... Но все будет в порядке. Вот увидите!

Вновь ему довелось пережить чувство из тех, что никогда не посещали его в том далеком мире. Ведь она не знает, просто не может знать! Неужели то, что для него — прошлое, тщательно проанализированное, изученное до мелочей, сконцентрированное в бесценном слитке многовекового человеческого опыта, открыто этой славной женщине с чуточку грустными глазами? Откуда такая спокойная уверенность в будущем?

Он склонился и поцеловал руку Тамары Георгиевны... К счастью, Федора Михайловича рядом не было — пошел покупать билеты в кино.

Все сделалось иным. Гиги Квес увидел, услышал, вспомнил.

Был период, когда встреча с Натали-Нателой, дружба с замечательным малышом Илькой и умным, добрым, веселым, печальным человеком Тамарой Георгиевной, со всеми, с кем он познакомился в доме отдыха, — когда это и многое другое ошеломяло его раздвоенностью ощущений. Он чувствовал себя то Георгием Кве-

селава, художником-ретушером, то Фантазером высшего класса Гиги Квесом, то тем и другим одновременно.

Теперь это прошло, и он просто жил. Смеялся, когда было смешно; отворачивался, сталкиваясь с противным; негодовал, если встречал тупость или злобу; радовался Красоте и Мудрости, независимо от того, в чем они проявлялись — в природе или в людях...

Он побывал на экскурсии в знаменитых пещерах, случайно открытых неким вездесущим мальчишкой, освоенных впоследствии спелеологами и считавшихся одним из четырех чудес этого уголка побережья.

Пещеры не то чтобы не понравились ему, но они были слишком окультурены. Проложенные среди сталактитов и сталагмитов бетонные дорожки, надежно огражденные высокими перилами, нудноватое бормотание гида, искусственная игра светотеней, создаваемая продуманно расставленными прожекторами, музыка «для настроения»... «Природу обокрали, выхолостили, — с грустью подумал Гиги Квес. — Ее посадили в клетку, вырвали, как у плененного зверя, клыки...»

Экскурсионный маршрут включал прогулку по небольшому курортному местечку.

Указывая на красавцев лебедей, величаво плавающих в зеленоватой от придонных водорослей озерной воде, домотдыховский культмассовик изрек:

— Лебеди... Птица, как известно, декоративная, потому и разводится... Согласно древней легенде, подтверждаемой многолетними наблюдениями ученых, они до самой смерти живут неразлучными парами. Когда умирает самка, самец подымается высоко в небо, складывает крылья и — р-раз! — разбивается насмерть. Если же погибает самец, то и самка взлетает в небо... — Он выдержал интригующую паузу. — И находит себе другого.

Многие рассмеялись. Гиги покорило. Но он встретил недоумевающий взгляд Ильки и обрадовался.

Гиги Квес познакомился и подружился с собакой, которая охотнее всего отзывалась почему-то на кличку Лапа, хотя ее устраивали и традиционные Шарик, Белка, Джек, Джульбарс. Пусть останется на совести бабушек и прабабушек полная невозможность определить ее породу (Лапа сочетала короткие ножки таксы с вьющейся шерстью пуделя и бородатой мордой фокс-терьера); это была чрезвычайно симпатичная псина. Она не принадлежала никому и околачивалась то на пляже, то у дверей столовой, то с лаем носилась по парку — неизменно, впрочем, храня молчание во время так называемого «тихого часа»; словом, жила в полном согласии с режимом дня дома отдыха.

У Лапы был один недостаток — она терпеть не могла купаться, и их знакомство получилось несколько курьезным. Когда Гиги впервые подозвал собаку к себе и она, прижав к голове обычно торчавшие, как у овчарки, уши, принявшись, поползла по песку к его ногам, уже знакомая нам экс-балерина взвизгнула на весь пляж:

— Осторожно! Она бешеная! Разве не видите, у нее водобоязнь! — Старуха только что была свидетельницей безуспешных попыток Ильки затащить Лапу в море.

Гиги потрепал пса по голове, погладил по мохнатой бородке — и Лапа, блаженно заурчав, опрокинулась на спину, задрав вверх все четыре конечности, словно говоря: «Ну, видишь? Я целиком и полностью отдаюсь твоей воле. Я без малейших опасений и раздумий доверяю тебе свою жизнь и безопасность! Понял? Оценил? То-то!»

К Гиги Квесу собака привязалась сразу — даже забывала о предложенном лакомом куске, если чуяла его приближение.

— Вот и видно хорошего человека, — во всеуслышание объявил однажды старый спасатель в капитанской фуражке. — Животная — она лучше понимает, кто

чего стоит... — Тут же, однако, насутился и грозно добавил: — А за буйки, товарищ художник, все-таки не заплывайте!

Лапа сделался постоянным спутником Фантазера. Он следовал за ним повсюду, не смущаясь ничьим обществом, и его поклонение было свободно от навязчивости. Однажды, впрочем, выяснилось, что у Натали-Нателы на этот счет иное мнение. Как-то, повинаясь безотчетному побуждению, Гиги взял ее руку, прижал к своему лицу прохладной ладонью... Девушка отняла руку, отпрянула сердито:

— Не надо! Он на нас смотрит... У, противный пес!

В двух шагах сидел выпрямившись и с доброжелательным интересом глазел на них безвинно заклеянный представитель семейства собачьих.

А раз произошло настоящее чудо.

Опьяненный морем, солнцем, близостью Натали-Нателы, всей счастливо-бестолковой пляжной суетой и гамом, Гиги, как мальчишка валяя дурака, притворился тонущим... И вдруг Лапа, этот принципиальный противник всякого рода водных процедур, до сих пор лежа неотрывно следивший за Гиги, принялся беспокойно скулить и бросился в море, неумело, единственно доступным ему стилем «по-собачьи» торопясь к месту, где его любимец только что вновь надолго скрылся под водой!

...На другое утро, проснувшись, как всегда, раньше всех, Гиги нашел его у подъезда своего корпуса и понял: пес просидел там всю ночь. У него перехватило горло.

«Но почему, — мучительно размышлял он спустя некоторое время, — почему они не прижились на Утреннем лесе?! Должно быть, цель их существования — самоотверженная любовь к человеку... А как ее проявить в мире, где никому ничего не грозит?»

В первое время Гиги Квес оставался равнодушным к великолепию дендропарка, в сердце которого расположились корпуса дома отдыха. Неудивительно: на Ут-

реннем лесе в изобилии росли все те деревья, цветы, кустарники, что и здесь, а также много таких, какие не встречались на Земле.

Кроме того, его раздражали многочисленные туристы, допускавшие на территорию парка дважды в неделю.

Они покупали входные билеты и послушной гурьбой брели за экскурсоводом; зачарованно повторяя экзотические названия, словно сговорившись, обменивались неизменными репликами:

— Вот это да!

— Не скажи — красотища-то какая...

— И чего только людям в голову не придет! Глянька: обыкновенная елочка, как у нас, а рядом... как он называется? «Трахикарпус форчуна»... И придумают же!

— Ой, мама, кактус!

— Не кактус, девочка. Это — агава. В переводе с греческого означает: «достойный удивления»... Теперь ты видишь, как полезно знать языки?

Поначалу Гиги возмущали эти, бессмысленные на его взгляд, восклицания. Утренний лес с честью носил свое имя: планета в самом деле была сплошь зеленая — настоящая природная фабрика кислорода. Высотные дома не нарушали первозданной гармонии некогда безлюдного мира. Что же могло восхищать в жалком искусственном парке, занимавшем несколько десятков гектаров и огороженном высокой стеной от мира бетона, металла, ядовитых выхлопов автомашин и раздражающего перестука поездов?

Поразмыслив, он проникся чем-то вроде сочувствия к этим пленникам городов, раз в год — на двадцать четыре или восемнадцать дней — получавшим возможность вступать в контакт с природой.

Но какой природой? Гиги вспомнил: дендрарий — от греческого *dendron*, дерево, — это специальный (!)

сад, где древесные и кустарниковые растения высажены в открытом грунте по определенному плану (!), — и ему стало жаль землян. Ведь то, что они с наивным восторгом называли природой, было не чем иным, как делом человеческих рук. Она была искусственной — вся эта пресловутая красота! Бедные, бедные земляне, люди семидесятых годов двадцатого века, его далекие предки...

— ...А теперь, граждане, соберемся вот тут, у этой пальмы, и сфотографируемся на память о чудесном парке и прекрасной южной природе! — В голосе благообразной пожилой женщины-экскурсовода, звучавшем до сих пор с некой таинственной сдержанностью, зазвенели повелительные нотки. Заинтересованный, Гиги наблюдал, как слегка ошарашенные этим натиском, люди покорно сбивались в плотную кучку. Энергичная черноволосая дама с персидскими глазами расставляла и рассаживала их в порядке, которого, очевидно, требовали каноны фотографического священнодействия.

— Карточка — рубль! — весело приговаривала она, ворожа над камерой. — Чуточку правее, пожалуйста... это я вам говорю, симпатичный блондин... Деньги вперед... Приготовились!..

«Интересно, — со злостью подумал в Гиги Квесе Георгий Квеселава, — как они делят между собой выручку? Ведь откровенный грабеж, иначе не скажешь!»

Он раздраженно зашагал вверх по крутой дорожке, убегая от всей этой торжествующей пошлости, свернул в боковую аллею — и словно споткнулся. На каждом из трех сросшихся, широких, как подносы, листьев кактуса, накануне остановившего внимание Гиги тем, что, поросший редкой щетиной мягких колючек, он напоминал неряшливого небритого дядьку, красовались свежесрезанные: «Миша + Фатима», «Аня», «Рита», «Коля», «Мзия» и даже «Здесь были Вахтанг и Зоя».

Гиги передернуло. Резким щелчком он отбросил по-

гасшую сигарету; опомнившись, пристыженно нагнулся поднять — и на него налетел теплый лохматый лающий вихрь, раздались знакомые голоса.

Обиженно-радостно тараторил Ильяка:

— А мы вас ищем и на пляже, и где пинг-понг!..

Лапа, повизгивая, крутился у его ног.

— Какой расстроенный вид... — Натали-Натела потянула Гиги за руку: — Идемте на море! — Перехватила его взгляд, вернувшийся к израненному растению, брезгливо поморщилась: — Какая тупость! Что это — страсть к самоутверждению? Пусть бы тогда лезли утверждаться на те скалы — там, кстати, и шею себе свернуть можно...

— Дикари, — серьезно сказал Ильяка. — А еще взрослые! Ведь он живой... — Бережно провел пальцем по глубокой царапине, в которой еще не застыл прозрачный сок — не успевшая свернуться живая кровь растения. — Ведь этот кактус знаете откуда привезли?

— А ты знаешь? — оживился Гиги. — Расскажи, пожалуйста.

— Так ведь про это все знают! — усомнился малыш. — Ну хорошо, я расскажу...

Илькин рассказ о Парке и о создавшем его Старике

Этот парк — он не очень старый, ему, наверное, семьдесят или восемьдесят лет, не больше... А восемьдесят — только для человека много... Вот ворона, кажется, триста лет живет, а есть, может, и такие звери, что и тысячу... Здорово, а?.. Да, хорошо, я вам про парк расскажу.

Давным-давно, до революции еще, сюда приехал один Старик. Тогда он был не совсем старик, но все-таки уже старый, конечно, — говорят, ему лет сорок было... Он раньше далеко отсюда жил — там зимой снег, морозы, а летом — жара, и болота, и комары. А у него

была жена больная. У нее туберкулез был. Это сейчас его вылечивают, а раньше люди от этой болезни умирали... Человек тот очень свою жену любил, и когда доктора сказали, что ей нужно море, солнце и чтобы тепло было всегда — летом, зимой, осенью, — он все продал и сюда переехал... Он богатый был, вроде капиталиста или помещика, но хороший. Такие тоже бывали, хоть и редко, мне дедушка рассказывал... Вот как один... он даже революционерам помогал. Только я фамилию забыл... Да, вы правильно говорите: Савва Морозов!

Ну вот. Приехали они сюда, и человек этот построил для жены большой дом. В нем триста шестьдесят комнат было! Это чтобы каждый день она жила в новой комнате, где больше всего солнца.. Ну, понимаете? Земля ведь вертится, и дом вместе с ней вертелся, и всегда в одной комнате было очень много солнца... И она выздоровела, та женщина! А он любил еще деревья и цветы разные, потому что от них воздух хороший и — красиво, тихо, только птицы поют, да сверчки ночью, а днем кузнечики в траве, вот как сейчас.

...У него много еще оставалось денег, и он решил вырастить здесь парк... Тогда тут все больше ольха росла, она и сейчас растет — там, наверху, где лес начинается. Некрасивая такая, и кислороду от нее мало... А он хотел, чтобы и воздух — такой, как сейчас, и чтобы красиво!

Он во всякие страны посылал людей и письма посылал — в Америку, в Японию, в Австралию... даже не знаю куда!

Оттуда на кораблях привозили деревья — разные, потому что из разных стран... И наконец получился этот дендропарк... Тот человек еще много хорошего сделал, мне дядя Карчава, который главный агроном, рассказывал, и тетя Тина Ардзинба, которая фельдшерница... Только я не все запомнил. ...Побежали теперь купаться, а? Тетя Натела, скажите ему, он вас послушается. Э-ге-гей, Лап! За мной!

Гиги Квес исподволь, шаг за шагом, принялся знакомиться с парком.

«*Agave americana* (Мексика)», — записывал он в блокнот, специально купленный в киоске у домоотдыховских ворот; его единственная молоденькая продавщица постоянно, без особого, впрочем, огорчения, жаловалась на невыполнение плана:

— Им ведь обязательно импортное подавай, — сетовала она на отдыхающих, — да и то не всякое!

«Юкка алойнолистная пестролистная», — читал Гиги надпись на табличке. — Ах, черт! До чего же она похожа на... на девочку-первоклассницу в клетчатой юбке-шотландке... из таких... аккуратисток, круглых отличниц со строго поджатыми губками!»

— «Саговник изменчивый»... Ого, этого занесло сюда из Китая, — невольно произносил он вслух. — Как обманчиво хрупки эти тонкие длинные листья! Он кажется искусственным и почему-то вызывает воспоминание о морской звезде.

Кто это отъел у тебя бок? Ах ты бедняга, уроженец далекой Флориды, «Сабаль пальмовидный»! Чья беспощадная рука поднялась на твое величие? Или это результат невидимой многолетней работы насекомых? «*Pinus canariensis*» — сосна канарская... — Ему чудилось, что от этого «бородатого» дерева исходит какое-то лукавое добродушие. А североамериканская «Лжетсуга тиссолистная» — шестнадцать сильных стволов, поднявшихся высоко над землей из одного мощного основания, — ассоциировалась с многодетной фермерской семьей: возмужали, стали на ноги сыновья, но продолжают жить одним общим хозяйством. Было бы в этом могучем дереве нечто самодовольно-кулацкое, если бы не трогательная беззащитность нежных игольчатых листьев.

Парк не навязывал себя людям. Однако, воплотивший в себе любовь и страх перед потерей близкого человека, мечту о молчаливой, изменчивой, но вечной

красоте, жившую, очевидно, в душе Старика из Илькиного рассказа, он, как ребенок, нуждался в помощи, уходе, постоянной заботе. Их же подчас явно не хватало.

«Какое мне, собственно, дело? — возражал Гиги Квес Георгию Квеселава. — Я только гость здесь, я в отпуске, и скоро...»

Это «скоро» все чаще напоминало о себе.

...Ранним утром, заплыв, по обыкновению, далеко в море, он долго и бездумно лежал на спине, беспрепятственно — солнце еще не выкарабкалось из щетины леса, покрывавшего горы, — и неотрывно смотрел вверх. Небо было девственно чистым; узкий призрачный серп замешкавшегося месяца лишь подчеркивал бледную голубизну.

И вдруг в этой безобидной глубине Гиги различил неяркую зеленую точку. Она медленно росла, разгоралась и вот уже достигла размеров небольшого вогнутого малахитового блюда...

В изумруде правильного круга — перевернутый вверх основанием усеченный конус, блистающий овальными зеркальцами многочисленных окон... Изображение приближалось, быстро обретая четкость, — словно невидимая рука подкручивала окуляр телескопа... И Гиги увидел ясно, как наяву, тонкое лицо матери, нежно-смуглое от того особенного, никогда не обжигающего загара, который дает мягкое сияние звезды Утреннего леса... Тут исчезло все, кроме лица, больших, печально улыбающихся глаз, — и губы шевельнулись:

— Скоро...

Первый косой луч земного солнца вонзился в его зрачки. Он зажмурился, рывком перевернулся в воде и ушел далеко в глубину — так далеко, что, когда, отрезвленный скользким прикосновением медузы, рванулся к поверхности, едва успел глотнуть соленой свежести морского озона.

...Фантазер стоял у подножия старой и, судя по все-

му, неизлечимо больной сосны. Дерево согнулось под тяжестью лет, ослабевшие корни из последних сил цеплялись за рыхлую почву. Сосна казалась безмерно одинокой перед лицом неминуемой скорой гибели и в то же время излучала твердость — так горделиво замыкаются в себе животные, умирающие от старости.

Накануне ночью, после долгих погожих дней, разразилась настоящая буря. Она вырвала с корнем несколько больших кустов; повалила даже один, правда тоже весьма преклонного возраста, «Трахикарпус форчуну» — живучего, цепкого выходца из Китая; расшвыряла по земле пригоршни плодов «Юбеи замечательной» (Чили) — аллею, образованную десятком этих величественных пальм, называли слоновой, и слово было найдено точное: уходящие на несколько метров ввысь столбообразные стволы действительно напоминали могучие ноги древних великанов.

Гиги записал: «Валяющиеся на земле ржавые таблички со стершимися надписями — названиями растений напоминают о заброшенных могилах старого кладбища». Он медленно шел по мокрому асфальту дорожек, вглядываясь в следы, оставленные ночной бурей, и в мыслях его тоже неистовствовала буря.

«Я не замечал этого парка и даже презирал его за искусственность. А может, надо наоборот? Может, это подвиг, и его величия не понять тем, кто живет в Будущем, которое есть Гармония?.. Но что такое Гармония? Ясное небо Утреннего леса, абсолютная защищенность его обитателей от какой бы то ни было опасности — болезни, аварии вихрелета, нападения хищника в диком лесу? Но нет больше таких лесов — в земном понимании, ибо хищники обезврежены, в них убита та часть древних инстинктов, которая порождала тигров-людоедов и толкала чудовищную анаконду в гибельный бросок на человека... И нет в джунглях Утреннего леса растений-каннибалов, питающихся за счет жизненных соков своих сородичей. Там не встретишься с трагедией

кипариса, задущенного глицинией, как не услышишь о драме чувств — этом непрестанно штормящем море, которое и есть жизнь человека на Земле. (Подчиняясь капризной воле ассоциации, прервалась нить философских размышлений нашего героя: он вспомнил масляный взгляд, брошенный вчера во время танцев ненавистным культмассовиком на Натали-Нателу, словно ощупавший всю ее гибкую фигурку множеством липких мягких лапок, и кровожадно решил: «Вот я окуну его завтра пару раз физиономией в море и подержу немного... Пусть промоет как следует свои жгучие глазки!») ...Нет, что это приходит мне в голову? — вернулся он к прежним мыслям. — Давно забыты войны, никто на Утреннем лесе даже не помнит толком истинного значения этого слова. И женщинам, которые живут для любви и творчества, для Материнства и Добра, не приходится, как Тамаре Георгиевне (я ведь понимаю, что к чему), корпеть в засекреченных лабораториях над средствами защиты от так называемых гипербомб и разной химической и биологической нечисти... Нет, Утренний лес прекрасен, ибо он рожден Гармонией и представляет собой ее живое воплощение!»

«Скоро? — спросил себя Гиги Квес. — Ну что ж, тем лучше. И пусть это не заставит себя ждать!»

«Неужели так скоро? — протестующе встрепенулась мысль Георгия Квеселава. — А Натали-Натела? А Илька? И море, и Лапа, и ворчливая Валя, и все остальное... вся Земля, неустроенная, мятущаяся в поисках выхода из противоречий, конфликтов, проблем, Земля добрая и злая, беспокойная, как сегодняшнее море после ночной бури, таящая миллионы тайн и неразгаданных загадок! Земля...»

Он не заметил, как свернул в сторону и оказался в чаще омытых дождем, алмазно сверкающих мириадами капель кустов.

— Эх вы, дураки неученые! — услышал он тонкий голосок Ильки и тихонько раздвинул ветки.

Трое в коротких штанишках, один из них Илья в своей шикарной майке, склонились, голова к голове, что-то сосредоточенно разглядывая в траве.

— Почему «дураки»? — оскорбился рыжий лохматый малыш. — Дураки — это которые не хотят учиться. А мы хотим. Может, мы просто ошибаемся?

— Ну, ладно, — сменил Илья гнев на милость. — Не дураки, а просто несмышлениши еще... Да какая же эта гадюка?! Это ж просто червяк такой, называется — «дождевой».

Чудовищный червь, толщиной и цветом напоминающий сосиску, тщетно пытался уйти в землю, избавиться от назойливого прутика, которым теребил его рыжий мальчуган.

— Да ты весь мокрый, Илья! — испугался Гиги. — И тапки у тебя насквозь промокли. А ну пошли!

Он потащил за собой мальчика, крикнув тем двоим:

— Ну-ка и вы марш переодеваться!

«...Это — тоже Земля, несуразная и невыразимо притягательная, путающаяся в противоречиях, не планета, а какой-то гигантский клубок парадоксов в лапках чудовищного игривого котенка! Буря ломала деревья, ливень — соучастник, пособник разрушения — подмывал под ними корни... Но он же породил на свет этого червя-великана, вдохнул новые жизненные силы в эту... как ее? — «Куннингамию ланцетную», так что даже ее колючки, давно потускневшие, похожие на гномов-ворчунов, вот-вот оживут и вновь зазеленеют... А как сладко и мощно пахнут упрямо не поддающиеся осени поздние розы!»

Рядом, задрав на уровне его пояса встрепанную белокурую голову, недоумевающе-ворчливо захныкал Илья:

— Почему мы стали и стоим? То сами ругались: «Скорее, скорее, Илья! Ты мокрый, как тряпка, хоть выжимай!» — довольно удачно передразнил он. — А теперь вот стали и стоим...

Выскочила из комнаты фельдшерица Тина Ардзинба, встревоженно разбрасывая слова:

— Господи ты боже мой! Он ведь насквозь промок! Он ведь простудится... Я же говорю: кому дети ни к чему... — мстительно добавила она и потащила малыша сушиться.

Илька в самом деле заболел. У него начался сильный жар, его лихорадило. Вызванный из города молодой врач заставил мальчика выпить три разные таблетки и уехал, сказав:

— Лучше пока не трогать... Пусть поспит — я ему дал снотворного. Да и ничего страшного нет. Если понадоблюсь — звоните.

Он оставил на всякий случай номер телефона товарища, который праздновал в тот день свою свадьбу.

Молодой врач ошибся. Илька проспал беспокойным сном часа три. В середине дня он открыл воспаленные глаза, невидяще оглядел фельдшерицу, мать, которая с утра ездила в город за покупками и, только что вернувшись, сидела на краю постели, сжимая в кулачки побелевшие красивые пальцы; отец ходил за дверью по широкому балкону, прикуривая одну сигарету от другой... Илька огляделся — и никого не узнал.

Ближе к вечеру у него начался бред.

— Лапа! Ну, Лап же... — бормотал он, тихонько хрипя. — Ты куда? Ты почему?.. Душно ведь. Ой, Лап, слезай, пожалуйста... Горло, здесь ведь горло... Ты мне дышать не даешь, Лапа! Ты слезай, пожалуйста... Скажите ему, дядя Гиги! Он душит... как эта... глициния...

— Ах, и все возня с собакой! Все беготня и дурацкие разговоры со взрослыми! Ведь меня предупреждали... — всплеснула руками красивая Илькина мать.

— Вы бы лучше помолчали... — с нескрываемой враждебностью оборвала фельдшерица.

Женщина послушно замолкла, комкая, принялась периодически прикладывать платочек к глазам.

Вызвали врача. Он приехал недовольный — вполне естественное состояние для человека, которого оторвали от праздничного стола; однако, осмотрев мальчика, измерив температуру, выслушав взволнованный, но толковый рассказ фельдшерицы, сделался очень серьезным.

— ...Кипарис поверил глицинии! — плакал Илька. — И он теперь мертвый... он умер... Дураки вы, мальчишки! Какая это гадюка? Я на будущий год в школу уже... А вы — несмышленыши! ...Добрый старик вырастил большой парк, красивый... Ой, мамочка! — тихо вскрикнул он. — Больно...

— Сынок, родной мой! — Мать порывисто нагнулась над ним, испуганная и — как ни дико это звучит — одновременно, казалось, обрадованная тем, что он позвал наконец ее, а не каких-то там Лапу, тетю Тину, дядю Гиги. — Сынок, что тебе? Где у тебя болит?

— Такая красивая... глициния. И задушила его. А ты тоже, Лап... Не смей!

Врач молча отстранил от Ильки плачущую женщину и поднял телефонную трубку.

В это время Гиги прощался с Натали-Нателой: «скоро» превратилось в «завтра».

Они стояли у каменного барьера и молча смотрели туда, где каждый вечер алый круг солнца уходил в море. Сначала он слегка касался его на горизонте и незаметно для глаз чуть сплющивался; потом деформировался сильнее, приобретая почему-то форму усеченной пирамиды, погружался глубже, глубже... И никакая убежденность, что это лишь обман зрения, что не солнце медленно тонет в ласковом море, а Земля, та ее точка, откуда вы смотрите на закат, неумолимо уносит вас, в своем суточном цикле обращения, от Солнца, — ничто не могло освободить от иллюзии.

Сегодня солнце садилось не в море — в мрачноватую пелену туч, закрывших горизонт. «Снова быть

шторму...» — вспомнил Гиги слова пожилой женщины, которая приводила по вечерам в порядок пляж, с привычно-беззлобным ворчанием собирая клочки бумаги, скомканные коробки из-под сигарет и легко, по два в каждой руке, оттаскивая подальше от воды забытые отдыхающими лежаки.

— Наш последний закат! — вырвалось у него.

Помолчав, Натали-Натела буднично сказала:

— Послушайте, Георгий... Если вас дома ждут жена и дети... Но я почему-то уверена, что это не так.

Он посмотрел на девушку с восхищением: только так она и могла сказать — без тени жеманства и всего остального, что туманно называют женской стыдливостью. Он смотрел с восхищением, любовью, тоской, гордостью, болью... Он был сейчас Георгием Квеселава и, хотя помнил обо всем, порывисто сжал сухую, теплую руку Натали-Нателы:

— Вот что: я расскажу тебе — и будь что будет!

Исчезла вдруг черная пелена на горизонте; вырвалось на свободу солнце, уже почти погрузившееся в непроглядность ночи; полыхнуло слепящим пурпурным лучом... Он стремительно вонзился в небо, навстречу ему упал другой луч — не то голубой, не то изумрудный, — они слились и шаровой молнией взорвались в мгновенной вспышке.

— Зеленый луч! — ликующе закричала девушка. — Я увидела зеленый луч! Говорят, это бывает очень редко и приносит счастье.

Ее глаза сияли; она была мучительно красива.

Но камнем упала на море, на деревья, на милое лицо ночь. Ударил из-за поворота свет автомобильных фар. Короткий вскрик сирены — машина шла на недозволенной скорости... Ярко-рубиновый крест...

Все стало на свои места.

— «Скорая»? — встревоженно спросила-констатировала Натела. — За кем же?

— Да, за кем? — машинально повторил Гиги Квес.

«Что это было в море и в небе?! — билось в мозгу. — Я уже рсшил: это они, это предостережение, но почему... как увидела она?..»

Упругий горячий комок прижался к их ногам. Гиги недоуменно взглянул вниз и встретил немигающий взгляд Лапы. Собака в упор посмотрела ему в глаза. Коротко взвыла и разом смолкла.

— Мальчику плохо! Ильке... — раздался рядом голос Тамары Георгиевны. — Это за ним.

Гиги не успел добежать до медпункта: едва не сбив его, в нескольких сантиметрах промчалась «скорая».

— В больницу повезли... — ответила Тина Ардзинба на его немой вопрос. Она хотела добавить что-то явно недоброе и укоряющее, уже скользнула жестким взглядом по лицу молодой красивой женщины, молча плачущей рядом, — и ласково сказала: — Ты не бойся, милая, у нас врачи хорошие.

Ночь душила пустынный парк, беспокойно бормочущее море и далекие, жалобно моргающие звезды. Гиги Квес шагал вниз по темной аллее и знал, что за ним бесшумно идет Старик. Что-то, должно быть, случилось с освещением. Гиги шел сквозь тьму и ни о чем не думал. Он не знал, куда и зачем идет. И в то же время в нем жила уверенность: все делается так, как нужно.

Навстречу выкатились рычащие тени. «Собаки!» — вспомнил он.

Здесь, в парке, было немало цитрусовых деревьез, и собак держали на случай бессмысленных налетов на эти сады — бессмысленных, потому что лимоны, мандарины и апельсины еще не созрели. Да только малоли глупых и жадных людей на свете? Гиги слышал, что собак весь день держат взаперти, выпускают лишь по ночам — и тогда, до предела налитые злобой, они могут загрызть насмерть. Но он не испугался, даже не удивился, когда собаки не тронули его, пропустили. Уже

у ворот мелькнула мысль: «Ну, конечно! Это Старик, ведь он хозяин, а собаки не тронут хозяина и того, кто с ним...»

Привратник спал в своей будочке. Гиги поднял толстый крюк, бесшумно отворил ворота и вместе со Стариком быстро направился туда, куда его вело... что? Простите меня за попытку объяснить то, чего я сам до конца не понимаю.

Гиги Квес, житель планеты Утренний лес, которой еще нет на астрономических картах, пришелец из Будущего, землянин по происхождению и Фантазер по профессии, *спешил на работу*.

А следом за ним, шаг в шаг, шел Старик — человек, когда-то создавший этот парк и умерший около полувека назад, но — живой.

«Кипарис лузитанский», выходец из далекой Мексики, днем похожий на крестьянина, устало свесившего натруженные ветви-руки, был этим Стариком. И «Вашингтония величественная», и другая, финиковая, пальма, уроженка Канарских островов, тоже были добрый и мудрый Старик. И японский «Осментус подуболистный», и роскошная гортензия, и средиземноморский «Лавр благородный», и клубничное дерево, и боливийская «Буция головчатая», щедро протягивающая пригоршни ягод на остролистной ветке, и непостижимая сложность смешавшихся свежих запахов — дыхание парка, и даже серебристые столбы лампионов, о которых Гиги как-то подумал, что здесь они тоже удивительно похожи на деревья, только одетые по последней моде... Везде и во всем жил Старик, бессмертный, потому что большую и лучшую часть своего земного бытия отдал созиданию Красоты и бескорыстному служению ей.

«Здесь?» — полуутвердительно спросила Старика мысль Фантазера.

«Здесь», — беззвучно ответил тот.

Смутно чернели контуры сплетенных стволов глици-

нии (что по-гречески звучит как glykys — сладкий) и умерщвленного ею кипариса (kyparissos) — вечнозеленого хвойного дерева теплых стран... Гиги Квесс остановился перед ними — и забыл обо всем на свете, ибо весь ушел в творчество.

...Я, конечно, не знаю, как он это делал, и говорю «конечно», потому что если б знал и умел, то сам творил бы чудеса, вместо того чтобы пытаться рассказать о них. Одно не вызывает сомнений: так одержимо и виртуозно Фантазер с Утреннего леса работал впервые, и вот здесь загадки уже нет: впервые он не просто воспроизводил жизнь, а боролся за нее со смертью.

Всю эту бесконечную ночь шестилетний мальчик Илька, которому в будущем году предстояло сделаться первоклассником, метался в бреду. Ночь была душная совсем не по-октябрьски, а Илькин бред был странный и неменяющийся (как будто бывает не странный бред!). Он говорил — запинаясь, сбиваясь, путаясь — об одном. О хищнице-глицинии и задушенном ею кипарисе. А его самого душил Лапа...

Ночь была не по-октябрьски неподвижна — ее тоже кто-то или что-то душило. Наверное, бессильные попытки грозы и шторма, до отказа заряженных ветром, электричеством и безысходностью, вырваться на волю, пролиться потоками дождя, разбушеваться сумасшедшей пляской морских волн!..

Перед рассветом плен был разорван в клочья туч, быстро унесенных высоким ветром; его смел стремительный, как мгновенье, ливень. Гроза прошла стороной, шторм не состоялся. Илька, последние полчаса погруженный в черный омут забвения, весь исколотый иглами врачей, которые уже не в силах были удерживать на серых лицах профессиональную маску спокойной уверенности в том, что «все будет в порядке», — Илька очнулся и еле слышно сказал:

— Хочу... туда, где кипарис! Он теперь живой.
Потом у него страшно и уродливо закатились глаза.
Врач — тот, кто первым его осматривал, — сказал:
— Вот... — Он был самым молодым и хуже всех умел притворяться.

Но Ильяка опять открыл глаза и удивленно спросил:
— Почему же мы не едем?

Молодой врач (у него текли по лицу слезы отчаяния, боли и гнева) с трудом выдавил из себя:

— Но куда, Ильяка?

И опять удивился малыш непонятливости взрослых и сказал:

— Ну да ведь туда... где кипарис.

Медики переглянулись. Самый старый и главный из них — профессор, срочно вызванный из столицы, откуда он час с лишним летел самолетом, странно оглядел остальных.

— Машину! — коротко приказал он.

Солнце уже взошло — чисто умытое ливнем и очень веселое в насыщенном грозовом озоне воздухе. Машина остановилась там, где было нужно. Ильяка с трудом приподнялся на носилках, выглянул в окно и торжествующе-звонко, хотя и слабо еще, крикнул:

— Я же говорил!

Люди стояли ошеломленные. Они почти все были местные и не могли ошибиться. Однако и поверить тому, что увидели, они тоже не могли.

Не было больше уродливого мертвого бревна, оторванного от земли и повисшего над нею в цепких объятиях хищного дерева. Стоял изумрудный вечнозеленый кипарис, и о чем-то радостном шелестела живая пышная крона... И робко, стыдливо прильнув к его могучему стволу, тянулся вверх беспомощный тоненький стебель вьющейся, трогательной в своей хрупкой красоте глицинии...

Еще не настал полдень, когда все уже было по-прежнему.

Вновь прибывшие отдыхающие фотографировались на фоне причудливой мрачной группы, изваянной беспощадным реалистом Природой: высохший обрубок дерева — обыкновенное бревно, бывшее когда-то красавцем кипарисом, намертво стиснутое в змеиных объятиях хищной глицинии.

Но это уже не имело значения.

Илька был здоров, ничего не помнил, и все остальные, пынешним утром потрясенные чудом Воскрешения, тоже обо всем забыли.

Под вечер художник-ретушер республиканской газеты Георгий Квеселава зашел в библиотеку дома отдыха, чтобы выполнить перед отъездом обещание, данное ее хозяйке, милой девушке, чем-то напоминающей «Юкку алойнолистную пестролистную» — строгую отличницу в юбке-шотландке. Библиотекарша вела специальный журнал, в котором, подчиняясь ее вежливо-неумолимым просьбам, отдыхающие из числа так называемых творческих людей оставляли на память какую-нибудь запись.

Он написал: «Шервуд Андерсон, один из выдающихся американских новеллистов XX века, сравнивал людские жизни с молодыми деревцами в лесу, которых душиат вьющиеся растения — мысли и убеждения тех, кто давно умер... Красиво, конечно. Но люди есть люди! Да и по отношению к деревьям несправедливо — природа не творит целенаправленного зла, вообще не ставит перед собой никаких целей, она просто продолжает самое себя... Спасибо и до свидания». Он зачеркнул последние два слова и вместо них вписал: «...всем — большого добра!»

Зеленый домотдыховский микроавтобус доставил шестерых, уезжавших ночным поездом, на вечно бодр-

ствующий вокзал. На перроне они тепло распрощались и в суматохе начавшейся посадки быстро потеряли друг друга.

От автора

На юго-восточной окраине Сухуми расположен одноименный дом отдыха. Здесь, шагах в двадцати от входа, хорошо вписываясь в зелень кустов и деревьев, чернеет скромный бюст: прямые сросшиеся брови, правильный нос, строгая линия не улыбающегося рта, густые усы и борода... Короткая надпись:

СМЕЦКОЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

1852—1932

Есть газетные статьи и брошюры, где можно найти не слишком подробные, однако красноречивые сведения об этом человеке. В частности, из них вы узнаете, что в 1895 году крупный промышленник из Костромы Н. Н. Смецкой купил в Гульрипше (ныне районный центр в Абхазской АССР) большой земельный участок, разбил субтропический парк и построил санаторий для больных туберкулезом. Позднее неподалеку, в местечке Агудзера, выросло еще одно санаторное здание. Он же создал великолепный дендропарк, на территории которого сегодня функционирует дом отдыха «Сухуми».

При желании нетрудно познакомиться с людьми, знавшими Николая Николаевича; еще больше тех, кто помнит его жену — действительно спасенная от болезни солнцем, морем и любовью, она значительно пережила мужа. Вам расскажут, что Смецкой был крепко скроенный невысокий человек, неизменно доброжелательный к окружающим, однако особенно нежно любивший детей — отчасти, наверное, потому, что сам был бездетен; для малышей он устраивал веселые праздники по разным поводам и без таковых, они отлично знали, что

в его карманах всегда отыщутся разные вкусные вещи... Откроются вам также другие интересные подробности.

В царское время неимущие студенты бесплатно лечились в принадлежавших Смецкому санаториях. Он по природе своей был Благотворитель. И в нем было благородство, которое не нуждается в подтверждениях того, что оно существует, ибо оно самоочевидно.

Вскоре после Октябрьской революции в старинный особняк (впоследствии местные власти будут принимать в нем высоких гостей различного, но весьма четко регламентированного уровня) явились среди почти вооруженные люди, затеяли было обыск... «Что вы ищете, господа?» — спросил Николай Николаевич. «Золото! — ответили ему. — В нем нуждается наша молодая республика». Он сказал: «Золота у меня больше нет, оно превратилось в этот парк... — Негромко добавил: — Заверяю вас честным словом русского дворянина». Вооруженные люди ушли. Они поверили.

После установления в Грузии Советской власти Смецкой сам передал все свое достояние государству. Оставшиеся годы он прожил в бывшей служебной пристройке; как мне говорили, она была на том месте, где сейчас находится новое административное здание дома отдыха. К сказанному остается добавить: на склоне лет вдова Николая Николаевича жила тем, что пекла пирожки и продавала их на пляже веселым загорелым курортникам.

...И еще от автора:

У меня появился сосед. Ему можно дать и тридцать, и сорок — юношески строен, подвижен, но скуп на слова; а еще — весь седой. Или просто волосы выгорели? Григорий, так его зовут, работает спасателем на городском пляже и, естественно, всегда на солнце... Только, сдается мне, отнюдь не всю жизнь занимается этой не-

хитрой, хотя, разумеется, весьма почтенной профессией. Он спросил однажды:

— Вы замечали, что у многих авторов — причем принадлежащих различным временам, народам, очень разных по творческой манере — можно подчас наблюдать почти идентичный подход к проблемам бытия?.. Да и проблемы их занимают, в сущности, одни и те же, не так ли?

Разочарованный (еще один изобретатель велосипеда!), я проямил что-то насчет единства законов художественного мышления.

— Я имею в виду конкретные примеры! Скажем, «Последний лист» О'Генри и рассказ Куприна «Девочка и слон»... Но это близко. А вот Галатея?! Нет, речь не о «кочующих» сюжетах. Другое поражает... или, если хотите, радует. В конце концов, сюжет — спроецированное в зеркале образной мысли *типическое*. Однако почему оно именно таково? Не лежит ли в основе существования *общечеловеческого* — сколько бы там ни болтали о вырождении или, напротив, сковывающих развитие духа предрассудках прошлого! — изначальное неодолимое стремление человека к утверждению, даже ценой самопожертвования, жизни над смертью, красоты над уродством? Так называемые «вечные темы» суть живая связь времен — даже непредставимо далеких друг от друга, а значит — иных миров... Простите за никчемное умствование, иногда на меня находит.

Вот вам и представитель нехитрой, хотя и почтенной профессии.

Не зная, что сказать, я довольно глупо спросил:

— Вы, вероятно, немало повидали в жизни? Ну, там, много путешествовали, наверное...

Странные иногда бывают у моего соседа глаза — как у человека, который долго и пристально смотрит на звезды, а когда его отвлекают, то не сразу возвращается к действительности.

— Путешествовал? — не сразу переспросил Григо-

рий. — Что ж, пожалуй, да, путешествовать мне пришлось довольно много...

Вот что случилось вчера.

Я зашел к нему после ужина сыграть в нарды. Он хорошо играет, только слишком уж азартно и терпеть не может спокойной игры: бывает, партия, кажется, уже наверняка его, но тогда мой сосед словно нарочно начинает делать совершенно несуразные ходы, рискует, горячится, а скажешь об этом — виновато улыбается:

— Неинтересно, когда заранее знаешь, чем кончится...

Григорию везло — он быстро закрылся (а у меня были две «убитые» шашки) и, как водится, посоветовав мне «почитать пока газету», рассеянно выбрасывал кости. Я от нечего делать принялся разглядывать скромно обставленную комнату и вдруг увидел, должно быть забытый, рисунок на письменном столе. Поднялся, подошел. Обыкновенный набросок фломастером, женская головка. Присмотрелся — и чуть не ахнул! Должен без ложной скромности сказать: в живописи, особенно портретной, я немного разбираюсь и достаточно знаком с работами больших мастеров. А тут...

Тонкое, стремительное лицо девушки, в глазах — вызов и одновременно детская такая нерешительность, упрямство, смелость и вместе — робкое ожидание... Очень чем-то замечательное лицо!

— Кто это? — вырвалось у меня, и тут же я спохватился: — Простите, пожалуйста... — Обернулся, встретил его взгляд — тот самый, странный, о котором я уже говорил.

— Наталі... — он произнес это имя бережно и словно бы отрешенно, с видимым усилением рассмеялся: — Одна моя знакомая. В общем-то — обыкновенная Наташа. Но у нее такая причуда — называть себя Натали...

И меня осенило: ведь он ее любит! Вот, оказывает-

ся, чем замечательно это лицо — огромной, нежной, бережной любовью, с которой оно написано!

Стало мучительно неловко, и все же я спросил:

— Это ваш рисунок?

Он только кивнул, и стало ясно, что больше ни о чем спрашивать нельзя. ...Но тут меня оглушила внезапная мысль.

Натела? Натали?... Господи, неужели Натали-Натела?!

Дело в том, что рассказ, который вы прочитали, однажды приснился мне. Ну, конечно же, не в буквальном смысле и не так, как он потом получился, даже не сюжет, не фабула, а просто осталось наутро смутное ощущение беспокойства, нечто неопределенное, неуловимое, но — властно требующее воплотить его, передать людям, поделиться с ними своей радостью и тревогой. И только. Больше ничего. Ни лица, ни события, пусть ничтожно мелкого, незначительного. Все остальное пришло само, если хотите — придумалось, уже потом, в процессе работы.

Но *это* имя, имя девушки, которую встретил на Земле и полюбил Фантазер с Утреннего леса, я не придумывал.

Оно отчетливо звучало в моем сне: Натали-Натела! И едва я проснулся, как услышал его наяву: Натали-Натела!

А если так... Мне стало не по себе.

Но ведь это просто невозможно, это нелепица какая-то дикая, совершеннейший нонсенс, мистика чертова!

— Вам играть, — сказал мой сосед.

Отворилась дверь, возник на пороге лохматый пес, застенчиво поглядел на нас; стараясь не стучать когтями, подошел к Григорию и ткнулся в его колени холодным черным носом.

1979



СТОЯНКА

ГОРОДСКАЯ СКАЗКА

Им люди нужны. Потребность в людях у них в крови. Тысячи лет человек и пес были рядом.

— Собаки знают многое, чего не знают люди, — хвастался Нэтэниел. — Мы такое видим и слышим, чего человек не может видеть и слышать.

Клиффорд Саймак. Город

НОЧЬ ПОЭТА

Человек проснулся сразу, не глядя взял со стула часы, чиркнул спичкой... Он мог бы не делать этого. Стрелки показывали двадцать минут пятого, и так бы-

вало каждый раз, когда приходил этот сон. Плюс-минус десять-двенадцать минут, не больше...

...До предела внутренне напряженный, он пробирался по темному туннелю, по лабиринту узких низких ходов, стараясь не попасть под опаляющий огонь каких-то вспышек, возникающих на каждом шагу, подстерегающих за каждым поворотом... Уклонялся от губительного столкновения с острыми металлическими углами, с рваными кусками то ли железа, то ли чудовищно толстого, уродливо оплывшего стекла, в последний момент увертывался от неуклонно надвигающихся фантастических машин — лязгающих, гроыхающих, дышащих пламенем... Шел глубоко под землей нескончаемой дорогой в поисках выхода — и не находил его, молил о спасении, но спасения не было...

«Да что же это такое наконец?! — устало и раздраженно спросил человек себя. — Обыкновенный кошмар, наверное...»

Страхивая наваждение, он рывком поднял с постели крепкое тело, шагнул босиком к окну, прижался щекой к отрезвляющей упругости январского стекла.

Это не было обыкновенным кошмаром. Кошмар эгоцентричен. А он в своем тягостном, многократно повторяющемся сновидении боялся не за себя и спасения искал для других. Не для дочери, волею противоестественной и дикой умершей в десять с половиной лет, — теперь ей было бы двадцать три; не для отца, ушедшего десятью годами позже; не для нелепо погибшего друга... Тот, кого он вел за руку по жуткому подземелью, был и первая, и второй, и третий. А может, и еще, еще кто-нибудь, кого он любил и потерял. Одни были близки ему как часть собственного «я», другие — по-иному, однако тоже дороги... Отчего же сон соединил их?

Оконное стекло требовательно холодило щеку, обзывало к ясности, и человек, в котором окончательно восстановилось душевное равновесие, рассудительно предположил: что, если это просто естественный протест

живущей во мне жизни против неизбежного? «Всякий раз, когда человек начинает думать о своей смерти, она представляется ему чем-то невероятным...» Откуда пришли эти слова? Он напряг память. Да, это Демокрит, Демокрит Абдерский, философ, живший в позапрошлом тысячелетии... Что ж, древний мудрец и прав, и не прав. Человеку свойственно думать не только о себе, но и о других, и болеть чужой болью, и страдать чужим страданием, а порою умирать только от того, что умер иной человек — любимый. Если же он жив, даже не болен, мы все равно боимся за него, тревожимся, и во сне, когда мозг беззащитен, это оборачивается кошмарами — уродливыми, искаженными образами действительности... «Эй, ты, — одернул он себя. — Ну и книжный же ты индивид!.. Или — заурядный неврастеник?»

Однако человек не был заурядным неврастеником. Просто он писал стихи, и они были настоящие. А тот, кто пишет настоящие стихи, не всегда спит спокойно.

Поэт жил на пятом этаже стандартного восьмиэтажного дома. Его печатали редко и неохотно, и потому он ходил на службу в некое учреждение, где неуклонное присутствие на рабочем месте считалось первейшим признаком добросовестности. Поэт с отвращением составлял всевозможные бумаги. Они были разного назначения, однако походили одна на другую, будто тараканы или сигареты из одной пачки. Он писал их очень искусно и получал приличную зарплату. У Поэта была машина — предмет непрестанной его заботы. Ему казалось, что машина — живое существо и, следовательно, способна уставать, печалиться или радоваться хорошему к себе отношению. Еще он любил свой «фиат» за то, что машина создавала иллюзию свободы — хотя бы относительной. Поэту нравилось сознавать: вот я сейчас здесь, а через десять минут буду в другом районе или даже за городом; пусть мы находимся в постоянной зависимости от Времени, зато Пространство в известной мере вынуждено с нами считаться... Машина не раз по-

могала ему освобождаться от груза тяжелых мыслей, которые приходили подчас без всякой видимой причины, — состояние, хорошо знакомое любому порядочному человеку. Поэтому, убедившись, что заснуть уже не удастся, он осторожно оделся и на цыпочках вышел из квартиры. Жена все-таки проснулась, но окликать не стала. Она умела *понимать*.

Январский рассвет медлителен. И все-таки на улице Поэта встретила уже не ночь. В полной темноте и тишине утро тем не менее сумело каким-то неведомым способом объявить, что его время настало.

Поэт напрямик пересек пустырь между сонной улицей и автостоянкой. Он был еще далеко от проволочной изгороди, за которой теснились в свете прожекторов разномастные машины — этакie дети, инстинктивно прижимающиеся друг к другу, чтобы вместе одолеть ночной страх, — когда до него донеслось грозное рычание. Две тени метнулись навстречу.

— Пси́на, — тихо сказал Поэт, и рычание сменилось радостным повизгиванием. — Здравствуй, Пси́на! — произнес он громко, весело, и его резкое худое лицо сделалось детским.

ПСИ́НА

Меня зовут Пси́на. Вообще-то разные люди называют меня по-разному, а я делаю вид, будто все эти Рексы, Шарик и Курша относятся ко мне, — не хочется никого обижать. По-настоящему же я — Пси́на. Так меня называл Тот, Кто Понимает. Но прежде чем он впервые пришел на Стоянку, я успела вырасти из глупого неуклюжего щенка в большую взрослую собаку. Сейчас во мне достаточно веса, чтобы свалить человека, если неожиданно броситься на него сзади. У меня мохнатая черная шерсть, которая часто порядком надоедает, потому что к ней прицепляются колючки, репы

и всякая другая дрянь. Зато во время нашей недолгой зимы она хорошо защищает от холода. Ведь я — уличная собака, и сторожа никогда не пускают меня в свое логово. И не надо. Только вот когда ветер... Он припосит тревогу. Как и луна, когда она большая и круглая. Я смотрю на нее (и хотела бы не смотреть, да не могу почему-то), и приходит ужасное беспокойство, в голову лезут непонятные мысли, неприятные воспоминания. В них никогда не разберешься до конца, хотя хочется порою нестерпимо. Пожалуй, лучше, что не получается до конца, — там, в глубине, прячется страшное, запретное... Это даже хуже блох. Блоху, если постараться, можно и выловить.

Стоянка — это место, где ночуют машины. Здесь я родилась и долго была уверена, что мир кончается за высоким забором из проволоки. Однажды мама исчезла. Она и раньше часто куда-то уходила, но всегда возвращалась. На этот раз не вернулась... Я была еще маленькая и проплакала всю ночь. Дежурил сторож по кличке Валико. Он вообще добрый, а в ту ночь даже *понял*. Валико впустил меня в логово. «Бедная, — говорил он, и гладил меня, и чесал за ухом, — сирота теперь, да? Ну, ничего, обойдется...» Я не знала, что такое сирота, к тому же человеческие голоса и даже мысли доносились до меня еще неразборчиво. Однако от Валико исходили доброта и жалость. Поэтому стало легче. Этот сторож — лучший из всех четверых. Скоро я узнала клички остальных: Джемал, Серго и Ашот. Они тоже ничего себе и всегда вовремя нас кормят. Только делают это совершенно равнодушно. Сторожа — а они, как известно, поставлены помогать нам — всегда помнят свое место и не вмешиваются в наши дела. Вот, например, дремлю я на солнышке и вдруг слышу: двое подошли к забору слишком близко. Приоткрываю один глаз. Обычное дело — мальчишки подбираются к ограде. Отлично знаю, что ничего плохого у них на уме нет, просто хотят покопаться на свалке в дальнем углу

Стоянки, где и охранять-то нечего... Но я вскакиваю, бегу к ним, кричу на ходу во все горло:

— А ну-ка назад! Что вам здесь падо, эй, вы?! Смотрите у меня, хулиганы!! Вот я вас сейчас, р-р-разбойников!!!

Кусать я, конечно, никого не собираюсь. Просто надоело без дела лежать, хочется размяться немного, пошутить... Мальчишки удирают. Мы с Пуделем весело, не спеша возвращаемся к логову сторожей.

К четырем годам я знала уже много человеческих слов. Но что слова! Любая собака знает: куда вернее и интереснее слушать мысли. Хотя не все псы умеют это одинаково хорошо.

Раз поздно ночью, когда луны не было и ничто не мешало спать, я сквозь сон почувствовала: на Стоянке чужой, и успела приказать Пуделю, чтобы он и звука не издавал. Пудель, не в обиду будь сказано, довольно недалекий пес, хотя и славный товарищ, ласковый и заботливый друг. Он всегда уступает мне первые, лучшие куски. Правда, я подозреваю, что так получается больше из-за его нерасторопности, чем по доброте сердечной, но хочется думать — намеренно уступает... Пудель послушно закрыл пасть, и мы вместе бесшумно пошли за чужим. Шагов за пять он нас наконец учуял, присел на корточки (а такого разве укусишь?), заговорил быстро-быстро:

— Собачки мои хорошие... Хотите кушать? Вот вам... вот... — и бросил по куску мяса. О, как от него вкусно пахло! Но мяса мы пока не тронули, хотя кусать чужого тоже не стали. Подождем еще... Он успокоился, нагнул-ся над одной из машин, что-то покрутил, чем-то полязгал... Все было яснее ясного — вор, хочет колесо снять. Такое уже бывало. Пудель глазами попросил разрешения, и мы вместе закричали изо всех сил:

— Хватайте его, ловите, дер-р-ржите! Это вор-р-р!! Вор-р-рюга... гав-гавв-гаввв!!!

Он побежал со всех ног. За ним — Валико. Догнал, огрел по шее и дал уйти. Нам объяснил:

— Черт с ним, больше не заявится! А с милицией связываться неохота... Собаки, вы, ей-богу, сторожа что надо!

Мы помахали хвостами, чтобы сделать ему приятное. Потом пошли и съели мясо, которым хотел подкупить нас чужой. Хор-р-рошее было мясо!

Тот, Кто Понимает привел свою машину на Стоянку осеню. Когда появляется новая машина, мы с Пуделем сразу замечаем и подходим познакомиться с ней и с ее хозяином. Какому-нибудь трехмесячному щенку все машины на одно лицо. На самом деле ничего подобного. Люди еще больше отличаются друг от друга — хотя и не так сильно, как собаки. Любой, даже самый ограниченный пес с первого раза и навсегда запоминает человека: у каждого свой запах. Однако запах еще не все. Собаки, которые умеют слышать, знают о людях много другого. И мы все без исключения сразу определяем, боится нас человек или нет.

Тот, Кто Понимает вышел из машины и увидел нас.

— А, — сказал он весело, — привет, собаки!.. Слушай, Псина (это мне), не знаю, сколько каких кровей в тебе смешано, но что есть медвежья — это несомненно. Господи, и в кого ты такая громадина вымахала?!

Я не все поняла. Было только ясно — его мой рост поразил. Это всегда приятно. Я запомнила его запах и помахала хвостом. А Пудель на всякий случай грозно заявил:

— Ты — новенький? Что ж, будем знакомы. Но если что — смот-р-р-ри...

А что «смотри» — и сам не знал. Пудель вечно так: облает новенького почем зря. Человек раскусил его без труда.

— Чего лаешь, дурак? — спросил он спокойно и дружелюбно. — Мол, знай наших? Ладно, буду знать.

И Пудель сконфуженно замолчал и, чтобы скрыть неловкость, ударился в другую крайность — принялся как щенок прыгать вокруг человека. Несolidно, подумала я. Сама я стояла молча, чуть-чуть шевелила хвостом, чтобы человек не подумал дурного, и ждала. Он сделал то, что следовало. Опустил мне на загривок руку, потеревил шерсть, погладил, почесал за ухом. Никакая собака, проживи она хоть десять жизней, не устоит против этого. Главное же — я слышала его мысли. О, пересказать их невозможно! Они были простые как голод, солнце, ветер, мясо, дождь, и они были сложные, словно сны, которые видишь после того, как слишком долго смотришь на большую яркую луну, но не позволяешь себе выть, и сердце готово выскочить оттого, что в тебе теснятся чувства до боли сильные, и кажется: вот-вот узнаешь главное, самое важное, недоступное — и не можешь узнать... И я всем существом почувствовала: он — Тот, Кто Понимает, он — Хозяин... Ведь я уличная собака, у меня до сих пор не было Хозяина, а он нужен каждой собаке... Но тот, кто кормит, — еще не Хозяин. Что человек не боится — стало ясно сразу. Некоторые люди нас почему-то боятся, и таких людей собаки не любят. Тот, кто боится, может быть опасным. От него всего жди. Может без повода камень в тебя швырнуть, палкой ударить, обругать ни за что... Чтобы скрыть свой страх. А я почувствовала на себе уверенную руку Того, Кто Понимает, узнала его чуткие, тонкие, длинные пальцы, слышала мысли — добрые, спокойные, веселые, дружелюбные, и невольно зажмурилась от неожиданного счастья, и замерла, и затаила дыхание. И он, похоже, тоже на какое-то время забыл обо всем. Еще никогда я не слышала человека так отчетливо. Сначала от него исходили лишь мир и покой, но вот примешалась легкая тревога, непонятная, чувствовалось только — застарелая, боль, и эти боль

и тревога передались мне, и я тихонько заскулила. Я попросила его:

— Не надо думать об этом. Смотри, какое теплое солнце, и ни малейшего ветерка, и Серго варит нам с Пуделем похлебку из куриных шеек (хоть она порядочно надоела!), и жить хорошо, и завтра опять будет ясное небо, я бы наверняка знала, если б погода менялась...

Все это на одном дыхании вырвалось из моего горла, потому что я полюбила этого человека.

Он взглянул на меня пристально, улыбнулся удивленно и пошел к логову сторожей, а я пошла за ним, чтобы послушать, о чем они с Серго станут говорить.

— Вы на ночь оставляете машину или постоянно будете? — спросил Серго.

— Пока на месяц. Там посмотрим.

Все сторожа говорили об этом с новенькими. Узнав, что на месяц, я обрадовалась.

Тот, Кто Понимает сказал:

— Насколько мне известно, сутки пребывания машины на стоянке стоят тридцать копеек...

Он говорил серьезно, и лицо у него было серьезное, однако я слышала: в душе Тот, Кто Понимает смеется. Серго же, разумеется, не услышал, произнес упавшим голосом:

— Да, тридцать копеек... по прейскуранту.

Тут новенький засмеялся уже вслух:

— Ладно. Относительно ваших правил я осведомлен достаточно хорошо... Думаю, поскольку я буду иметь честь сделаться вашим постоянным клиентом и к тому же платить вперед, рубля в сутки многовато... Итак, двадцать в месяц. Договорились?

— Можете быть спокойны! — засуетился Серго. — Глаз не спущу с вашего «фиата».

Он был самый жадный из сторожей — всегда кормил нас куриными шейками, да еще столько хлеба крошил в похлебку, что от мяса один запах оставался.

Тот, Кто Понимает приходил на Стоянку не каждый день. Почти всегда приносил с собой ливерную, а то и получше, колбасу и честно делил между мной и Пуделем. Если же ничего не приносил, то говорил виновато:

— Сегодня я пустой, ребята. Вы уж извините. Вернусь — обязательно вам что-нибудь привезу.

Я издали узнавала, когда он «пустой», и ничего не просила. Я не люблю попрошайничать. Да и вообще, если по совести, ни один из нас никогда не бывает голоден по-настоящему — ни мы с Пуделем, ни собаки, которые охраняют соседнюю Стоянку и приходят к нам в гости, ни даже безработные ничьи псы. С ними я встречаюсь, гуляя по близлежащим дворам и улицам. Стоянка порой надоедает, хотя здесь всегда что-нибудь происходит.

Высокий человек в костюме с блестящими пуговицами («Полковник... представляешь? — почтительно говорил о нем всегда одно и то же маленький Ашот. — Это тебе не хвост собачий!») часто приводит с собой маленькую девочку. Девочка угощает нас сахаром и конфетами. Они вкусные, только много не съешь — очень уж потом пить хочется. Мысли у девочки простые, ясные и никогда не отличаются от слов, которые она говорит. Когда приходит девочка, мы с Пуделем дружно лаем.

— Они говорят мне «здравствуй!». Правда, папа? Я совсем не боюсь!

— Правда, дочка, — отвечает полковник. — И я знаю, что ты не боишься.

Приходят, чтобы сесть в свою машину и уехать, или приезжают, а потом идут домой и другие люди с детьми. Мы с маленькими человечками дружим. Иногда приходится несладко: могут тебя и за хвост потянуть, и за ухо дернуть. Но какой с них спрос? Я совершенно ясно слышу их мысли — чистые, светлые, радостные; у взрослых таких мыслей не бывает, разве только изредка. Как же такого тронешь? Даже если он тебе прямо в пасть лезет и норовит зубы пощупать: какие они?..

Разное здесь бывает. Как-то пришел хозяин одной машины, хотел сесть и уехать, а Валико ему не дает, уговаривает:

— Извините, гражданин, только не могу я вас пустить! Выпивший вы... Поймают вас или, хуже того, соьете кого-нибудь...

Тот огрызается:

— Тебе какое дело! Моя машина или нет?

— Ваша, батона, ваша машина... Но не стоит в таком виде в город выезжать, поверьте.

Хозяин машины ругаться начал. Я бросилась между ними, зарычала:

— Только посмей на него руку поднять — загр-р-рызу!

Так и не пустили. Пришел этот человек на другое утро:

— Спасибо, Валико... И собака у тебя замечательная.

А я услышала то, чего он не договорил: «...Пожалуй, поумнее меня вчера была!» — и стало очень смешно.

Сторож Джемал не такой жадный, как Серго, зато вороватый. Как-то вышел он ночью из логова с канистрой, постоял, подумал и — прямо к машине Того, Кто Понимает. Я за ним: если откроет дверь, то запахнет Хозяином, и можно закрыть глаза и думать, что он здесь... Но сторож повозился над машиной, и запахло бензином. Мысли у Джемала были нехорошие, он меня даже побаивался как будто. Вот сунул в машину шланг, другой конец в пасть взял... Теперь все стало ясно — не раз видела, как бензин переливают. Я подошла вплотную, сказала:

— Нельзя!

Что с ним стало!.. Кто выдумал чепуху насчет того, что мы, собаки, не выдерживаем человеческого взгляда?

— Ч-черт! — изумился Джемал. — Сукина ты дочь, дрянь такая, на кого зубы скалишь?!

Я не ответила, только оскалилась еще больше. Какое он имеет право трогать бензин Того, Кто Понимает? Его дело кормить меня, чтобы я смотрела за этой и другими машинами.

— Тьфу! — сплюнул сторож. — Продалась за колбасу, да? — И ушел обратно в свое логово.

Неправду он говорил. Ничего я не продавалась. Я любила этого человека не за колбасу и кости, а за то, что он *понимал*. Правда, он не сразу научился понимать все. Когда я в первый раз проводила его до дома, он очень удивился. Постоял у подъезда, погладил меня, как никто другой гладить не умеет, предложил:

— Давай сходим в магазин — я тебе что-нибудь куплю.

Мы пошли. Я этот магазин хорошо знаю. Его все собаки знают.

Он вернулся со свертком в руке и, пока мы шли до подъезда, бросал мне куски колбасы. Потом сказал:

— Ну, пока, Псина. До завтра.

И помахал мне, и скрылся в подъезде, и сделалось грустно, как каждый раз, когда он исчезал (а вдруг больше не появится?), и я потихоньку побежала обратно на Стоянку.

Еще несколько раз Тот, Кто Понимает покупал для меня колбасу, а я ждала его на улице. Однажды, когда мы пришли к его дому, он задрал голову, позвал свою подругу. Я ее знаю, она иногда приезжает вместе с ним на Стоянку, и потом мы втроем идем через пустырь к их логову. Я к ней неплохо отношусь, хотя чувствую, что она меня побаивается. Но зла в ней нет, да и голос страха слышен все слабее... Подруга вышла на балкон, увидела нас, засмеялась, ушла, появилась вновь и бросила Тому, Кто Понимает сверток. Тот еще на землю не упал, а я уже знала: в бумаге еда. И тогда стало ясно, что он еще не все понимает. Думает, что я его провожаю только ради колбасы! А ведь совсем не так. Я за ним иду, чтобы ничего не случилось, чтоб не

обидел его человек или другая собака. Но еще больше из-за того, что мне очень этого хочется. Я люблю чувствовать рядом Того, Кто Понимает, знать, что он обо мне думает, слушать его голос, ощущать запах, смотреть, как двигаются его длинные ноги и руки... Я решила не есть колбасы. Оказалось — не так уж это трудно. Тем более если ты недавно обедала... Что с ним было!

— Вот оно как... — сказал он тихо. — Прости меня, Псина.

Мы, собаки, умеем слышать лаггáров *. Нет, мы выпуждены их слышать. Особенно тогда, когда они из всех сил скребутся, и рвутся, и со злобой и отчаянием пытаются пробиться к нам через Стену, разделяющую наши миры. Я бы очень хотела не слышать лаггаров, потому что не знаю, какие они, а это ужасно. Что они едят? Верно, собак. Когда я чую лаггара, то всегда вспоминаю страшную машину и страшного человека, разъезжающего по ночам.

Я видела его. Он остановил машину в переулке, заглушил мотор, неторопливо направился к собакам, которые лежали на траве, на маленькой поляне, неизвестно как сохранившейся среди высоких серых домов, асфальта и булыжника. Была ночь, луна была еще молодая — узкая, кривая — и не внушала тревоги. Собаки медленно обменивались мыслями, и я присоединилась к ним. Когда человек приблизился, собаки приветливо замахали хвостами. Они привыкли верить людям и ничего не заподозрили. Только я почувствовала: что-то здесь неладно, что-то не так... Я и еще один пес. Мы с ним молча поднялись с травы и ушли. За углом остановились, осторожно выглянули... Страшное произошло. Человек достал из кармана блестящий предмет... Раздался громкий резкий звук — как будто лопнула шина,

* Лаггáры — существа, живущие в четвертом измерении. Очень немногие люди догадываются о том, что они есть.

только в нем было жуткое. Одна из собак свалилась на землю, забилась, громко завывала... Мне стало нехорошо, ведь совсем недавно мы с ней познакомились — обнюхали друг друга и сделались приятельницами. Ночной человек выругался, от него с такой силой пахнуло злобой и ненавистью, что меня даже на большом расстоянии будто обожгло. Резкий звук повторился еще и еще. Вой оборвался. Я все поняла, опрометью бросилась на Стоянку. Никогда раньше не испытывала я такого страха. Он разбудил Пуделя, и тот принялся меня успокаивать и лизнул несколько раз в нос.

Когда я слышу лаггаров, то думаю, что, наверно, они из породы таких вот ночных людей, только невидимые, ничем не пахнут... И меня охватывает беспокойство: за Того, Кто Понимает, и за сторожей, и за маленькую глупенькую девочку с ее отцом-полковником, и за всех людей, которые не похожи на страшного человека... Но лаггары скребутся только по ночам. Потом наступает утро, светит солнце, на Стоянку приходят хозяева машин, здороваются с нами, и мы здороваемся с ними, и машины оживают, чтобы куда-то ехать, а к вечеру вновь вернуться. Тогда я забываю о лаггарах, и жить опять хорошо и весело.

Случилось неприятное.

Тот, Кто Понимает приехал на Стоянку с другим человеком, который иногда появляется вместе с ним. Этого человека я не люблю. Странно, ничего плохого он мне не сделал. Напротив, тоже иногда приносит с собой что-нибудь вкусное, угощает нас, и пытается погладить, и говорит ласковые слова. Но ласка этого человека не доставляет мне удовольствия. Я просто терплю ее. Стоит ему прикоснуться ко мне — и шерсть невольно становится дыбом, я молча твержу: «Оставь, мне неприятно, уходи отсюда, ты мне не нужен... Пожалуйста, отстань!» У этого человека густая рыжая шерсть на го-

лове, и от него пахнет нездоровьем. Я терплю его, только чтобы не обижать Того, Кто Понимает.

Неприятное началось, едва они вышли из машины. От рыжего пахло так же, как от человека, которому мы с Валико не позволили сесть за руль, и в его мозгу шевелились нехорошие, мутные мысли. Тот, Кто Понимает вел его через пустырь под руку, а я шла за ними, отстав больше, чем обычно. Всю дорогу человек с рыжей шерстью на голове бормотал разные слова. Странно: он говорил несвязно, но слова не расходились с мыслями.

— Хочешь сказать, что ты лучше меня? — приставал он к Тому, Кто Понимает. — Пусть! И не хочу скрывать, что я тебе действительно завидую... Ты ведь такой талантливый, многое успел в жизни... Успел и поседеть, и на должности посидеть...

— На должности, как тебе известно, я уже не сижу, — терпеливо ответил Тот, Кто Понимает.

— А кто виноват?! — обрадовался вдруг пахнувший нездоровьем. — Язык твой длинный и гордость дурацкая виноваты!

Он так противно обрадовался, что я едва его не укусила.

— Ладно, — еще спокойнее ответил Тот, Кто Понимает. — Ты не умеешь пить, и тут я в самом деле виноват... Ничего, завтра все станет на место.

Мы пришли к подъезду. Я держалась за спиной Хозяина. На всякий случай.

— Выходит, я и теперь — ничтожество? Почему ты всю жизнь должен быть выше меня? Ведь тебя выгнали с работы. Ты... ты просто тунеядец теперь и никому не нужен!

Тот, Кто Понимает весело, искренне рассмеялся, и я рассмеялась вместе с ним.

— Ты по-прежнему мыслишь на уровне передовых статей. «Тунеядец» — слово звучное, но далеко не однозначное. Коль скоро ты понимаешь под ним социальную бесполезность личности — а ведь ты именно так

понимаешь? — то сам представляешь собой образец тупеядца. Ну, вкалываешь, зарабатываешь неплохо, даже очень... И покупаешь на свой труд всякую ненужную дрянь, хотя скуп, как Шейлок.

— А ты... — рыжешерстный задыхался от злости. — Ты разве лучше? Накопитель! Вот ведь есть у тебя машина...

— ...А у тебя нет. Но тебе она для чего? Мне машина доставляет радость. Она и другим радость приносит — я люблю подвозить незнакомых людей. Ты же, если когда-нибудь у тебя машина будет, станешь возить в ней помидоры на базар.

— При чем тут помидоры?!

— При том, что до машины ты купишь дом с участком и будешь разводить ранние овощи на продажу. Ибо ты — кулак от природы, а кулак — всегда раб по натуре...

— Ты когда-нибудь перестанешь так со мной говорить?! — завизжал рыжий. Он не замахнулся на Того, Кто Понимает. Но я знала: просто боится. Мысленно он топтал его ногами. И я цапнула этого мерзкого человека. Правда, в последний момент сумела сдержаться, не тронула тела, только разорвала штанину снизу до самого колена. И отскочила в страхе, и умоляюще посмотрела на Того, Кто Понимает. Неужели он не поймет?! Пока пахнувший нездоровьем искал несуществующий укус, Хозяин положил мне ладонь на голову (я сжалась, ожидая удара, он имел право ударить), мягко сказал:

— Уймись, Псина... Не стоит. Иди-ка ты домой. Завтра увидимся.

Я облегченно вздохнула. Он понял и простил! А Тог, Кто Понимает, вместо того чтобы самому — и уже настоящему укусить рыжешерстного, взял его под локоть:

— Поднимемся ко мне. Я тебе дам другие брюки.

Странные существа люди. Даже самые лучшие.

ЛАГГАРЫ

Поэт продал свою машину. Он больше не получал хорошей зарплаты, так как не писал деловых бумаг, а стихи его по-прежнему печатали редко и неохотно.

— Ерунда, — беспечно сказал он жене, — когда-нибудь купим новую. Вот увидишь, я скоро издам большой сборник или крупно выиграю в спортлото. Зато пока мы можем ни в чем себе не отказывать. Давай махнем куда-нибудь подальше? Скажем, на Дальний Восток, а то и за границу...

Они в самом деле уехали далеко-далеко и проехали целых два месяца. Но деньги быстро кончились. Они всегда кончаются быстрее, чем ожидаешь. Поэт, кривясь и дергая нервной шеей, писал кое-что для газет. Еще он писал большую поэму, о которой никому, кроме жены, не рассказывал. От одной мысли вновь поступить на какую-нибудь службу он болезненно морщился.

— Не хочу больше служить, не желаю, чтобы всякий дурак мог мне приказывать только потому, что он называется моим начальником! Разве я не прав? — воинственно спрашивал Поэт.

— Прав, прав, — успокаивала жена.

Большинство других людей думали иначе. Они расудительно наставляли Поэта:

— У вас светлая голова, прекрасный слог... Говорят, вы талантливы... — При слове «талантливы» такие люди с сомнением пожимали плечами. — Почему же вы не хотите работать?

— Я работаю, и достаточно много, если хотите знать, — сердился Поэт. — Я служить не хочу!

Тут разумные люди недоуменно переглядывались и оставляли его в покое. Дома он рассказывал обо всем этом с победоносно-насмешливым видом, довольно искусно передразнивая «этих практичных и благонаме-

ренных людишек». Жена делала вид, что ей тоже весело, а про себя озабоченно думала, что Поэт сильно похудел, издергался и по ночам иногда вскрикивает. И если уж быть честным до конца, то у нее были все основания для беспокойства.

Дело было совсем не в необходимости отказываться от многих вещей, которые раньше они могли себе позволить. Намного хуже оказалось другое: этот человек — Поэт — внутренне надломился. Причин хватало. Очень многие бывшие его сослуживцы, первое время часто приходившие или по крайней мере звонившие по телефону, приходили и звонили все реже. Раньше остальных Поэта забыли те, кто прежде находился у него в подчинении. Кроме одной славной девушки, которой он давным-давно сделал доброе дело, хотя по существующим правилам делать его не полагалось. Только этого оказалось слишком мало... Оставались еще старые испытанные друзья времен далекой юности, но у всех — семьи и работа, отнимавшие много времени и сил. Да и полуторамиллионный город, раскинувшийся на десятки километров по обе стороны реки, с его метрополитеном, длинными расстояниями, выросшими за последние годы жилыми массивами и сотнями тысяч электронных монстров — телевизоров, которые прочнее самых крепких цепей удерживают по вечерам в квартирах-ячейках высотных домов, разъединяя людей вернее и беспощаднее, чем кровная вражда... Этот громадный город делал свое дело.

Отчужденность, думал Поэт, отчужденность... Она страшнее радиации, телесных недугов, экологического кризиса. В ней все зло, и мы перед нею — бессильны, беспомощны, словно слепые, глупые котята... Он немного кривил душой. Дело в том, что Поэт привык к искренним или завистливо-почтительным проявлениям явного восхищения перед его остроумием, талантом, легким веселым характером, щедростью и естественным, как смех ребенка, великодушием, перед широтой души

и удивляющим окружающих умением делиться с людьми всем, чем он был богат. Упрямо не признаваясь себе в том, что так называемые жизненные неурядицы — неизменный объект его злых насмешек — больно ударили по самолюбию, Поэт чувствовал себя все более опустошенным и одиноким.

Он несправедливо обидел некоторых из ранее близких людей, намеренно отдалился от других, а рыжеволосого приятеля однажды попросту выгнал из дому вместе с его супругой — и поступил очень дурно, ибо они пришли к нему с самыми добрыми намерениями. Но только начали — предельно тактично и чрезвычайно чутко — наставлять Поэта на истинный путь, как тот встал и изысканно-вежливо подал красивой подруге приятеля ее дорожное пальто.

Главное же — поэма не хотела укладываться в слова, и, привыкший одухотворять предметы и явления, он думал о ней, как о живой, что поэма права: слова рождались скучные, стертые, невыразительные.

Псина по-прежнему жила на Стоянке. Она тосковала по Тому, Кто Понимает. Несколько раз приходила к знакомому подъезду в надежде встретить его и с восторгом и благодарностью ощутить волнующее прикосновение любимой — и любящей, в этом она не сомневалась, — руки. Однажды встреча состоялась. Громадная мудрая собака мгновенно превратилась в нелепого щенка, самозабвенно повизгивающего, прыгающего, скулящего радостно и жалобно. Человек был растроган. Он гладил собаку, тормошил ее, хватал за грозную, неудержимо смеющуюся пасть, теребил крепкие короткие уши.

— Псина ты моя, чертова моя проклятая псина, чтоб тебе провалиться, не забыла меня, дура лохматая, умница моя хорошая, дрянь ты грязная, замечательная моя... — Так он бормотал не слыша себя, и глаза у че-

ловека были влажными. Собачья же душа наполнилась таким неистовым восторгом, что загляни в нее сейчас кто-нибудь — он бы испугался: вот-вот разорвется ликующее песье сердце.

Замолк человек, опомнился, поник.

— Ну, иди, иди, Пси́на, — сказал тихо. — Твое дело — ясное, честное, собачье. Не стоит тебе с этим соприкасаться.

И заставил себя войти в лифт и нажать кнопку пятого этажа.

Собака, которую звали Пси́на, долго стояла у подъезда под холодным осенним дождем. Это была вторая осень после той, когда они встретились. Поздняя уже осень, неудержимо плывущая вместе с нудным непрекращающимся дождем в угрюмую промозглую южную зиму.

Потом собака ушла, нехотя добрела до Стоянки, где блестящие отлакированные дождем машины. Неунывающий Пудель кинулся было к ней, приглашая к суматошной забаве. Пси́на щелкнула устрашающей пастью и, не увернись он в последний момент, наверняка прокусила бы толстую шкуру.

...Лаггар явился где-то на исходе ночи. Не успев проснуться, собака вскочила, в ужасе и ярости зарычала, завывала, заскулила, залаяла... Изнутри в дверь сторожки ударилось что-то тяжелое.

— Чтоб тебе сдохнуть, проклятая! — послышался голос сторожа.

Пси́на замолчала. Мы, люди, сформулировали бы ее мысли так: «Интересно, как бы ты сам взвыл, если бы слышал то, что слышу я...»

И настала для человека, который жил на пятом этаже серого дома-коробки, ночь безжалостного кризиса. Они словно сговорились — неудачи, большие и

малые неприятности, подлинные несчастья, настоящие беды — и давящей тяжестью навалились на душу и мозг.

Поэту вспомнилась дочурка, много лет назад умершая на его руках от неизлечимой болезни. Он вновь увидел (давно этого не было!) недоумевающий, полный мольбы и страдания взгляд огромных от боли детских глаз. Они просили, они требовали помощи, они молили и не понимали, почему нельзя, невозможно помочь... Поэт скрипнул зубами, едва не раскрошив их, достал из шкафа бутылку коньяку и выпил первую рюмку, а следом — вторую... Полураздетый сидел на кровати, не замечая январской стужи, которой веяло от окна. Он страстно и терпеливо ждал одурманивающего действия алкоголя. Опьянение не приходило. Хуже того, теперь он думал об отце, умершем внезапно, среди ночи, в другом конце города, и как метался на пустынной улице в поисках случайной машины, как бежал по выщербленным широким ступенькам старого дома, ворвался в комнату — и поразился лицу покойного, строгому, с едва очерченной на губах понимающей усмешкой... Еще три рюмки подряд — все то же бессилие хмеля, та же обнаженная ясность мысли, вереница лиц тех, кого он знал и любил, больше или меньше — неважно, он любил их, а они ушли в небытие. Что ж, уйдет в свое время и он. Все живущие ныне уйдут. Так для чего все?.. Ясность, непереносимая, болезненная, ранящая ясность мысли! Обманчивая ясность, понимал Поэт. Наверное, я заболел. Нет, я устал. Как я устал!..

Он допил бутылку из горлышка, оделся, бесшумно открыл и тщательно запер за собой дверь, пошел вниз по лестнице.

Лаггары бесновались. Они яростно ломились в Стену, грызли ее острыми, загнутыми внутрь зубами — по

сотне в каждом ряду. С зубов стекал шипящий яд. Холодно было на Стоянке, однако Псина дрожала не от холода. Фантомы вторгались в ее собачье сознание теперь уже не только в образе страшного ночного человека. Незримую Стену жадно царапали когтистые лапы рыжешерстного, от которого омерзительно пахло нездоровьем... Стена дрогнула, поддаваясь злобному натиску. Псина вскочила, напряженно вслушалась в ночь. Хрупкая морозная тишина над Землей... Медленно успокаиваясь, собака улеглась на свою подстилку у двери, свернулась клубком, прикрыла хвостом влажный холодный нос. Она услышала Зов. Вскочила, вся дрожа, замерла, застыла. Затем мягко спрыгнула на припорошенную снегом землю, нырнула в дыру под забором и уверенно понеслась через ночной пустырь длинными большими прыжками.

Поэт невидяще шел по обледенелому тротуару — без шапки, воротник пальто поднят, руки в карманах. Опыание так и не пришло. Лишь мысли путались сильнее, и образы, лица, неизвестными путями вернувшиеся из прошлого, жалили беззащитный мозг, и озноб, которого он не ощущал, сотрясал тело мелкой непрерывной дрожью.

Не замечая, он сошел с тротуара и теперь пересекал безлюдную ночную улицу, широкий проспект.

Резанул по ушам гул мотора, человек обернулся, зажмурился от слепящих, чудовищно толстых стрел света, услышал визг тормозов, успел подумать с неуместной отчетливостью и спокойствием: «Откуда эта шальная машина?» — отвернулся и приготовился умереть. Что-то сильно толкнуло в спину, бросило лицом на каменно-твердую грудь улицы. «Так быстро?» Тяжесть, сбившая с ног, не отпускала. Все еще скользя по гололеду, он неловко вывернул вверх лицо. Большая черная собака лежала на нем всем своим часто дышащим те-

лом. Человек ощутил ее живое тепло и удивился: «Через пальто?...»

Он лежал в постели, часто трогал толстый бинт на лице и говорил, говорил, изредка замолкая, чтобы отпить глоток почти черного чая. Жена сидела в кресле напротив и молча слушала. В окно смотрело ясное угрюмое солнце.

— Ты понимаешь, — говорил Поэт, — какое это чудо — собаки?! Она меня спасла, вот что... Она, моя Пси-на, не случайно оказалась там — и как раз вовремя. Знаю, ты скажешь, что я фантазер, что у меня температура... — Женщина согласно кивнула, а он продолжал все более возбужденно: — Но откуда в нас такая уверенность? Что мы знаем о собаках, вообще о животных?! Может, они медиумы, телепаты? Откуда эта косная убежденность, что условные рефлексy — все?.. Что все на них кончается? А если вообще есть такие формы жизни — мыслящей жизни! — о которых мы не подозреваем? — Его лицо пошло красными пятнами. Жена так же молча достала из-под мышки Поэта градусник, взглянула на него, показала мужу.

— Тридцать восемь и девять? — сказал он беспечно. — Ерунда! Ты ведь знаешь, я отлично переносю температуру...

Поэт поставил стакан на стул около кушетки. Рука была неверной, и чай расплескался.

— Ч-черт! — выругался он. — Обжегся. Ну, ерунда...

— У тебя все ерунда. Между тем ты явно болен. Давай вызову врача.

— К дьяволу врачей! Я здоров как никогда. Понимаешь, я выздоровел! — Он дышал тяжело и часто. — Я понял... Или, вернее, начинаю понимать...

— Пожалуйста, выпей это.

Послушно проглотив таблетку (было видно, что он

бы и таракана сейчас проглотил, только б не мешали), Поэт горячечно продолжал:

— Мы, материалисты, говорим: бессмертие — это жизнь атомов нашего разложившегося тела, воплотившаяся в другие организмы — в зверей, птиц, растения... Ну да, ну конечно — это еще и наши дела... К примеру, поэма, которую я пишу... Которую я обязательно напишу!

— Конечно, напишешь, — сказала женщина уверенно, а во взгляде ее плескалась растущая тревога. — Но не лучше ли пока заснуть?

— Ни в коем случае! Ты должна понять. А почему только атомы, а не целые молекулы? Атомы — слишком слабое утешение. Если только они, значит, личность погибает бесследно. Но ведь это несправедливо, нелепо!.. Но ведь могут сохраниться целые молекулы? В том числе и клетки — носители наследственности... Как это? «Завтрашнее — пронижется обмолвкой позавчерашней...» * — продекламировал он с неожиданной силой. — ...При чем тут «обмолвка»? Я хочу сказать, хочу сказать... Мы умрем, ведь все мы живем только на временной Стоянке. Но то хорошее, доброе, умное, красивое, что в нас есть, останется. Оно будет жить в других людях... Или в животных — таких, как моя Псина... — У него слипались веки, снотворное действовало быстро. — Вот... И никакой... мистики... Добро и Красота... Они — бессмертны!

Глаза его закрылись. Немного выждав, жена бесшумно поднялась. Однако Поэт детским движением схватил ее за халат. Он всегда стеснялся красивых и высоких слов, а потому, сделав последнее усилие в единоборстве со сном, хвастливо, дурашливо заявил:

— Ты знаешь, кто я? Я — лучший в мире опровергальщик всех... и всяческих... фан... фан-тазий...

* Строки из стихотворения Галактиона Табидзе.

И заснул как убитый, и проспал до позднего вечера, и проснулся совершенно здоровым. Поэт торопливо поужинал-пообедал-позавтракал, уселся за письменный стол, и его перо едва поспевало за мыслями и образами — живыми и яркими, как никогда прежде.

На Стоянке глубоким сном спала большая черная лохматая собака. В ту ночь лаггары не смели царапать-ся в Стену.

1983



ПОЛЕТ СТАЖЕРА

*Мозг и душа смертны. Они разрушаются
при конце. Но... материя восстанавливается
и опять дает жизнь, по закону прогресса,
еще более совершенную.*

К. Циолковский. Монизм Вселенной

*О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!*

А. Блок. «О, я хочу...»

Кристалл первый. ГИБЕЛЬ «ЭФЕМЕРИДЫ»

Все, о чем расскажут эти кристаллы, произошло потому, что погибла «Эфемерида».

Впервые в жизни я летел в межзвездном корабле не

пассажиром, а полноправным членом экипажа. Вместе с тем положение мое было в некотором роде двусмысленное. Должность третьего пилота числилась в штатном расписании звездолета, и я, выпускник Университета космических сообщений Бег Третий, проходящий стажировку, занимал ее вполне официально. Но получалось так, что делать мне было нечего. При своих сравнительно малых размерах «Эфемерида» относилась к космолайнерам высшего класса, напичканным компьютерами, на мой взгляд, сверх всякой меры... И еще до старта командир сочувственно сказал:

— Придется поскучать — тут ведь и для меня со Вторым дела в обрез... Впрочем, рекомендую заняться пассажирами.

Я не обиделся на это предложение. Обязанности космоюарда сложны и ответственны; правда, такими они становятся лишь в случае возникновения аварийной ситуации, а последних в хронике космических сообщений не фиксировалось уже восемьдесят шесть лет.

Между прочим, Бег Третий — имя, кое к чему обязывающее. Говорят, в глубокой древности у людей был обычай нумеровать своих вождей. Потом он забылся. Когда же прошло порядочно времени с начала эры освоения внеземных пространств и появились астролетчики — дети и внуки первых, таких, как Гагарин и Армстронг, обычай этот возродился, хотя и в измененном виде. Разумеется, отнюдь не все граждане Общества наследовали профессии своих отцов и дедов. Между, например, мною и Бегом Первым лежит пропасть почти в два столетия. Однако обычай остался в силе, и я горжусь принадлежностью к династии, пусть астролетчиков в наш век не меньше, чем, скажем, программистов ЭВМ или биоконструкторов... О Беге Первом я знаю больше, чем о Втором, рано погибшем при испытании космокорабля нового типа. Знаю, в частности, что Первый величал себя, как водилось когда-то, по имени и фамилии — Заал Бегишвили, хотя, думается мне,

сокращенное Бег и удобнее, и проще, и (да простит меня предок) благозвучнее. Но он был упрям, и, должен признать, такова наша родовая черта. А уж что там причиной — влияние суровых гор, возраставших неисчислимыя поколения Бегишвили, наследственность или иные факторы — судить не мне.

Ошибкой было бы думать, что Бег Первый был мелочным упрямым. Не упрямо — одержимо всю жизнь он оставался верен мечте открыть внеземную цивилизацию. И ни разу не усомнился в истинности своей великой веры. Он участвовал в четырех межзвездных экспедициях и умер своей смертью, тихо и торжественно — просто остановилось на половине удара старое сердце. У меня хранится кристалл, на котором записаны его слова, сказанные незадолго перед концом. Бег Первый завещал его тому из потомков, кто тоже выберет профессию астролетчика. Я помню завещание наизусть. Вот оно:

«Придет время, когда внеземные контакты человечества превратятся в естественную составную часть его существования. Мы не одиноки во Вселенной. Утверждать обратное — значит основываться на тезисе о некой исключительности Земли, то есть значит, по существу, впадать в религиозность. Все попытки обосновать теоретическую и практическую невозможность нашей встречи с братьями по разуму, в том числе человекоподобными, не что иное — в конце концов, — как проявление косности и подсознательного или осознанного страха перед новым. Новое всегда грозно, ибо несет с собой гибель старому, вот мы его и боимся... Мечта человека о Контакте сбудется! Это вопрос времени, проблема обнаружения новых возможностей. Иными словами, это чисто техническая проблема. А неразрешимых технических проблем — нет».

Здорово, по-моему, сказано. Наивно? Пусть! Мне нравится. Думайте обо мне, что хотите, но я тоже верю, что время Контактa наступит. Хотя, казалось бы, весь

ход освоения космоса доказывает пока обратное — вот именно: пока... Теперь вернусь к «Эфемериде», которую я, конечно же, полюбил сразу, несмотря на двойственную роль, выпавшую мне в ее последнем рейсе.

Итак, я последовал совету командира — занялся пассажирами. Точнее будет сказать: это занятие отнюдь не представлялось мне сколько-нибудь тягостным. Недаром Мтвариса* утверждала, что при моей общительности нетрудно найти общий язык с самым нелюдимым представителем хищной флоры планеты СИ-5... К чему это я вспомнил о Мтварисе? Кажется, все было решено раз и навсегда... Вот и отлично, вот и хватит...

На «Эфемериде» летели семь пассажиров, но двое изъявили желание остаться в анабиозе до конца путешествия. Поэтому мне достались всего пятеро подопечных; из них одна женщина. Прежде чем приступить к обязанностям добровольного космостюарда, я использовал служебное положение третьего пилота и внимательно ознакомился с картотекой. Пожалуй, на борту такого совершенства, как «Эфемерида», она была анахронизмом. Зачем знать подноготную пассажиров, если гарантирована почти стопроцентная безопасность полета? Тем более что практически исключена ситуация, когда, как при аварии в древней шахте или, скажем, на подводном корабле, знание людей помогало предотвратить панику, которая подчас страшнее самой опасности.

Вот они, пассажиры «Эфемериды» (цитирую по упомянутой картотеке):

«Кора Ирви, 52 лет, принята Обществом на полное обеспечение, пользуется всеми правами активно работающего гражданина. Одинокa. Двое сыновей, 27 и 30 лет, погибли при испытании дубль-синтезатора. Склонна к мистицизму. Цель полета: «Хоть немного отдохнуть от воспоминаний. Они так мучительны...» (приведен дословный ответ пассажира).

* Это грузинское имя происходит от слова «мтваре» — луна.

«Петр Вельд, 67 лет, профессия — рабочий Службы звездной санитарии. Цель полета — отпуск».

«Тингли Челл, 26 лет, Практикант Общества. Цель полета: «Разобраться, что к чему» (приведен дословный ответ пассажира).

«Виктор Горт, 41 года, профессия — Художник, специальность — голограф. Цель полета: «Поиск — только и всего...» (приведен дословный ответ пассажира).

«Сол Рустинг, 58 лет, служащий Департамента записи изменений в составе Общества. Подвержен меланхолии, острым приступам страха перед неизбежностью смерти. Цель полета — лечение».

Я поудобнее устроился в кресле, чтобы исподволь поразмышлять над полученными сведениями, хотя, повторяю, они вряд ли могли мне понадобиться.

Рабочий пост третьего пилота находился во вспомогательной ракете «Эфемериды». То был корабль-малютка, предназначенный для кратковременных выходов в космос по разного рода служебным нуждам и приема-высадки транзитных пассажиров; он обладал весьма ограниченным запасом автономии и, соответственно, радиусом действия. В этом полете ракетой не пользовались. «Эфемерида» прямым курсом, без промежуточных остановок шла по маршруту Земля — Зеленый остров. Поэтому основная часть пути была пройдена нами в режиме субпространственного полета. Сегодня вечером лайнер вышел из этого режима и теперь тормозил, приближаясь к пункту назначения.

«Зеленый остров»... Хорошее имя придумал для планеты тот парень, что около двух десятков лет назад первым высадился на ее поверхность. Название ассоциировалось со свежестью пробудившегося дня, журчанием ручья в низине, над которой стоит деревянный домик, и звонким запахом сосен. Так оно и было. Зеленый остров, одну из девяти колонизованных планет, где изначально существовали условия для развития сложно организованной органической жизни (а на некоторых — и

сама жизнь, к сожалению, неразумная), было решено сохранить в девственной нетронутости. Человечество испытывало растущий голод по природе, которой не коснулась преобразующая рука НТР... Поздно, увы, спохватились.

Логика — с усилием выговариваю это слово в данном контексте! — технического прогресса привела к тому, что естественные заводы по производству кислорода — леса были уже не в силах выполнять свое назначение. Началось, в глубокой древности, с примитивных фильтров на дымовых трубах, а кончилось мощными бесчисленными установками по выработке кислорода. Человечество дышало воздухом, о каком оно прежде и мечтать не могло. Но дикая прелесть непальских джунглей, и суровая царственность таежных лесов, и захватывающее дух приволье великих северных пустынь остались жить только в виде бережно хранимых остатков природы — как щемящее напоминание человечеству о далеком невозвратимом прошлом. Потому и решено было сохранить Зеленый остров таким, каким его открыли. И потому летела сюда с околосветовой, постепенно гаснущей скоростью «Эфемерида»: она несла на борту людей, каждому из которых было, по разным причинам, необходимо доверчивое и молчаливое общение с Природой, не оглушенной еще гремющими раскатами технической цивилизации.

Автомат голосом гостеприимной хозяйки сказал:

— Стол накрыт. Прошу всех в кают-компанию.

Я опустил за собой дверь ракеты, не подозревая, что в следующий раз мне придется сделать это в условиях неожиданных, необычных, грозных.

Мы впервые по-настоящему собрались вместе, и я решил приступить к обязанностям космостюарда не откладывая. Дождавшись, когда автоматическое контрольно закончит чтение меню, я поднялся, немного смущаясь, сказал:

— Меня зовут Бег... Бег Третий. Я — третий пилот

«Эфемериды», однако, по просьбе ее командира, выполняю в этом полете обязанности космостюарда. Готов вам служить.

— Очень приятно! — громко и весело отозвался Тингли Челл. — А я — Практикант Общества. Ищу, как говорится, свою музу, но она что-то не дается мне в руки.

Он бойко набрал несколько цифр на диске заказа и с аппетитом принялся за еду. В общем, этот круглолицый парень с хорошо развитой мускулатурой стал мне ясен сразу (во всяком случае, таково было мое твердое мнение). Что ж, подумал я, судя по всему, звезд с неба он в обозримом будущем хватать не будет, зато особых хлопот с ним не предвидится.

Сол Рустинг, видимо шокированный вульгарностью Тингли, бросил на него укоризненный взгляд, чопорно мне представился, вновь сел, прямой, как спинка кресла в присутственном месте; он был худощав, мал ростом и трогательно лыс.

Кора Ирви матерински улыбнулась, сочувственно спросила:

— Ведь третий пилот — это очень важная работа, не правда ли? В вашем возрасте — и такая ответственность!

Я заставил себя ответить обворожительной улыбкой.

Виктор Горт, которого я сразу узнал по многочисленным портретам в газетах, посмотрел в мою сторсну коротко и цепко — даже неприятно стало. (Кстати, почему массовый читатель так и не принял многочисленных попыток полностью заменить газету более современными формами информации? Она осталась такой же, как пятьсот лет назад, лишь синтетика заменила бумагу.)

Пятым мог быть только Петр Вельд, и он не преминул заметить:

— Что-то слишком много «третьих»... Не так ли, пилот?

Коричневые складки на дубленом лице играли ехидством. До чего неприятный тип! И почему я не сказал сразу, что лечу просто стажером?.. Затем этот большой и тяжелый человек добавил:

— Мой предок летал с Бегом Первым на «Золотом колесе». Будем знакомы: Вельд, космический мусорщик.

Обида исчезла. Я благодарно подумал: этот свой, настоящий... Оставалось определить отношение к Виктору Гарту.

Высокий, юношески стремительный (а иногда напротив — поразительно вялый) в движениях, он не вызывал симпатии. Наверное, оттого, что привык воспринимать окружающих в первую очередь с позиции профессионального наблюдателя, холодного ценителя, смотреть на людей, животных, вещи как на возможные объекты съемки. Таково было мое первое впечатление; я же привык ему доверяться.

Виктор Гарт был избранником Общества: оно присвоило ему категорию Художника, а Художников в мире насчитывалось куда меньше, чем Ученых. Я знал, что в древности принято было и тех, и других исчислять сотнями, тысячами. В те времена — варварские, иначе не назовешь, — существовали особые объединения, и многие мечтали состоять в них — возможно, по той причине, что при распределении жизненных благ это давало преимущества, имевшие тогда огромное значение. Когда пресловутые привилегии потеряли смысл, число жаждущих называться Художниками и Учеными значительно сократилось. Однако и из этой горстки Общество отбирало лишь единицы — людей, мыслящих *творчески*, а не просто усвоивших определенный, пусть гигантский, объем знаний. Само по себе знание, как сумма сведений из той или иной области, уже не представляло собой, тем более исключительной, ценности: ведь каждый легко мог получить любые нужные данные из общедоступных хранилищ информации. Категория Ученого или Художника не только не давала человеку

никаких преимуществ — она неизмеримо усложняла ему жизнь, обязывая к величайшей ответственности перед Обществом. Кроме того, люди начали понимать, с какой мукой сопряжен самый процесс творчества.

Конечно, Виктор Горт был бы Художником и в том случае, если б не изобрели голографию, — Художником можно только родиться, и он родился им. Однако я убежден: не будь на свете этого могущественнейшего по впечатляющей силе искусства, Горту пришлось бы нелегко. Голография недаром происходит от греческого «*holos*» — «всё»; сменившая фотографию, она в самом деле стала всесильной — всеобъемлющей, всеохватывающей, всеотражающей... Синтезировав возможности живописи, скульптуры, художественной фотографии, она позволяла запечатлеть вещи и явления во всем богатстве красок, причудливости пространственных очертаний, неповторимом своеобразии трехмерного рисунка. Голографический снимок вырывал из времени кусок жизни, сохраняя его навсегда. Этот «кусок» можно было осмотреть со всех сторон, поворачивая, как статуэтку на ладони. Совершенствование техники привело к отказу от громоздкой проекционной аппаратуры, без которой нельзя было обойтись на заре голографического искусства, ее заменила камера-альбом размером с обыкновенную записную книжку. Нажатием кнопки вы получали возможность увидеть предмет в натуральную величину, независимо от того, что было объектом съемки — средней величины бабочка или действующий вулкан. И повторяю, главное — вы могли увидеть эту бабочку, этот вулкан, человека или веточку сирени так, как если бы ее запечатлели одновременно спереди, снизу, сзади, сверху...

Голос автомата заставил меня вздрогнуть. Нельзя так увлекаться своими мыслями, особенно если назвался космостюардом! Я быстро окинул взглядом лица. Кажется, никто ничего не заметил.

Но я рано обрадовался. Послышался еле различ-

мый шелчок. Виктор Горт, спокойно усмехнувшись, спрятал камеру. Дурацким же было выражение лица, которое он запечатлел! Ну и черт с ним, обозленно решил я.

Автомат несколько озабоченно повторил:

— Не скучно ли пассажирам?.. Могу предложить видеопрограмму. Будут высказаны пожелания или мне предоставляется свобода выбора?

Я встряхнулся:

— Может, действительно?..

— Будет какая-нибудь ерунда, — пренебрежительно сказал Тингли. — А впрочем, как все, так и я.

— Только, если можно, не очень громкое и чтобы не слишком мелькало, — попросила Кора Ирви.

Мы заказали фильм-лекцию о Зеленом острове. Ру-стинг одобрил:

— Всегда хорошо знать, что тебя ждет впереди...

— Согласен.

И Виктор Горт щелкнул затвором. Это был «выстрел» в Сола. Меня немного покорибила такая бесцеремонность. Никогда бы не смог стать профессиональным голографом; по-моему, здесь необходимо совершеннейшее отсутствие щепетильности.

Мы знакомились с планетой, на которую летели, добрых три часа, и никто не устал. Вокруг нас глубоким дыханием дышал девственный лес, от штабеля березовых дров пахло свежими опилками, в нагретом солнцем воздухе хаотично плавали мириады мельчайших пылинок, давным-давно исчезнувших на Земле.

Программа прервалась. Вспыхнул неяркий свет.

— Приближается время сна, — деликатно сообщил автомат, — так что... Надеюсь, пассажиры не задеты моим вмешательством?

— Ну что вы, — саркастически отозвался Тингли Челл. — Ничуть!

Автомат, приняв его слова за чистую монету, успокоенно кашлянул и вдруг поучительно изрек:

— Кто рано встает, тому бог подает.

Раздался общий смех, и я подумал, что у ребят, создавших эту говорящую машинку, были неплохие головы.

Мы отправились спать в хорошем настроении.

Начался третий, последний день полета. Все было спокойно на борту «Эфемериды». Я окончательно вошел в роль космостюарда, хотя, как вы понимаете, перед стартом мечтал совсем о другом. Пассажиры, чувствовалось, были довольны мною; я отвечал им отнюдь не профессиональной — искренней доброжелательностью.

Вот только однажды мы крепко поспорили — по вопросу о причинах происхождения войн. Сначала я разошелся во взглядах с Тингли Челлом. Он утверждал, что древняя история Земли практически является не чем иным, как хроникой военных столкновений, и назвал мирные периоды «обусловленными жизненной необходимостью, ибо они были попросту вынужденными передышками, такими мостиками» между войнами.

— Ведь в эпоху деления Земли на государства с различным социальным устройством причины для возникновения конфронтаций не исчезали, не могли исчезать... Однако даже поединок боксеров делится на раунды — не потому, что на время перерыва перестает существовать повод для схватки, а чтобы дать соперникам возможность передохнуть.

Мне же казалось, что такой взгляд довольно примитивен. Причинами войн, утверждал я, были не только идейные, политические противоречия, но нечто, составлявшее в ту далекую пору важную часть самой человеческой природы.

— Здесь вы, пожалуй, в чем-то правы, — неожиданно поддержал меня Виктор Горт (я говорю «неожиданно», потому что интуитивно предчувствовал неизбежность антагонизма между нами двоими; увы, мое пред-

чувствие оправдалось — тоже совершенно неожиданным образом). Я имею в виду: иначе следовало бы думать, что ликвидация войн как формы существования человечества есть заслуга государственных и разного рода общественных деятелей, то есть результат политики.

Не будь этого необъяснимого чувства неприятия Горта, даже, должен признаться, неприязни к нему, подсознательной готовности к конфликту с ним, я бы, наверное, согласился. Но я сказал:

— Вы считаете, что политика здравого смысла, доброй воли, утверждения взаимопонимания между народами не сыграла никакой роли в борьбе против страшной опасности глобального ядерного взрыва, некогда грозившего Земле гибелью?

— Отчего же, — нехотя ответил голограф, — на определенном этапе все-то, о чем вы говорите, свою миссию выполнило. Готов даже согласиться: именно усилия государств доброй, как вы сформулировали, воли в известной мере доказали несостоятельность апокалипсических пророчеств...

— Следовательно?.. — Я торжествовал.

— Ничего не «следовательно», — лениво возразил Виктор Горт, и я пожалел, что служебный долг обязывает меня к предельной сдержанности. А он продолжал с тем же раздражающим спокойствием: — Дело в том, что сама по себе политика в силу природы своей не может служить инструментом объединения стран и наций. Вы, пилот, несомненно, помните: греческое слово «politikê» означает — «искусство управления государством», и главная цель этого «искусства» — сохранение существующей в данном государстве системы общественных отношений. Эрго, применительно к политике внешней, о которой идет речь, следует сказать, что она есть орудие защиты интересов конкретной социальной формации, противостоящей другой конкретной...

— Почему непременно «противостоящей»? — все-таки перебил я и спохватился: — Впрочем, простите...

«Однако в двух последних словах содержалась не столько попытка извиниться за невыдержанность, сколько капитуляция перед логикой голографа, и мы оба поняли это.

— Рад, что вы опередили мою мысль, — сказал Горт, не позволив себе улыбнуться и тем самым еще более меня разозлив.

Петр Вельд спросил заинтересованно:

— Что же в таком случае раз и навсегда отбило у человечества охоту убивать и вообще играть с огнем в общепланетном масштабе? — И сам ответил: — Сдается мне, люди поняли — *все, без исключения* — бессмысленность такой игры. И, разумеется, ее гибельность. А уж в этом им помогли лучшие умы — в том числе, полагаю, и политики, которые вам, Горт, так не по душе.

Меня поразила мальчишеская улыбка Художника.

— Да, — признался он, — честно говоря, недолюбливаю... хотя и заочно, так сказать, поскольку ни одного живого застать не успел. О чем не жалею — хорошо, что в политике отпала надобность! — Он продолжал уже серьезно, убежденно: — Государственные деятели — само собой, лучшие, действительно видевшие в своей профессии реальную возможность служить людям, — могли лишь на время отодвигать угрозу войны, предупреждать силою дипломатического таланта, ценою невероятных усилий очередную, возможно, на сей раз катастрофическую, конфронтацию. Однако то были победы спорадического характера; они предотвращали последствия, не устраняя причин. Ясное дело: рождение на планете объединенного Общества лишило войны питательной почвы — воевать-то не с кем стало...

— Итак, я прав! — вскричал Тингли. — Само Искусство за меня.

— Но не это стало решающим фактором.

«Почему он так подчеркивает весомость своих слов?! — возмущенно подумал я. — А эти многозначительные паузы перед тем, как осчастливить слушателей очередной сентенцией!..» И, уже без всяких «простите», потребовал:

— Не скажете ли вы наконец, что же именно?

— Все решило качественное изменение характера и масштаба дел, которыми занялся человек, — сказал Виктор Горт так, словно и моей реплики тоже не было. — Освободившись от тягостной необходимости тратить силы и самое жизнь на преодоление мелочей — таких, как борьба за хлеб насущный, — соединенное человечество взялось за проблемы, единственно достойные наделенного интеллектом существа... Ведь даже борьба со страшными болезнями была всего лишь *черной* работой. А Человек не предназначался — все равно, богом или природой! — для унижительной черной работы. Изначально он, как исключительное явление Вселенной, пришел в этот мир во имя принципиально иных — высшего порядка свершений. Феномен homo sapiens заключает в сути своей два великих свойства: непреодолимое тяготение к Тайне и способность ее Разгадать. Я имею в виду, например, освоение Космоса, постижение четвертого и последующих измерений, сокровеннейшие проблемы бытия — зарождение жизни, ее гибель, любовь, творчество, «механизм» чувствования и мышления — и их трагически-прекрасную взаимосвязь... А что есть война перед подобными категориями?

Тут Кора Ирви беспомощно пригладила белую прядь, резко выделявшуюся в черных густых волосах, тихо молвила:

— Зачем были войны?.. Смерть и без них всегда рядом...

— Как тонко, как верно подмечено! — подхватил лысый человечек.

Я вспомнил картотеку, поспешил изменить тему. Виктор Горт, перехватив мой озабоченный взгляд, бро-

шенный на них, еле заметно кивнул и шелкнул затвором. «Жертвой» стал Сол Рустинг.

Мы уже привыкли к этому. За мной голограф охотился особенно упорно. Однажды я достаточно резко указал ему на это. Он внимательно на меня посмотрел:

— Понимаю, это не может не раздражать. Но, поверьте, я и сам не рад. Только иначе у меня ничего не выйдет. Словом, я против этого бессилён.

Нечем было возразить. Наверное, подумал я, таково одно из главных свойств Художника: он не может не делать того, что делает. Даже тогда, когда ему самому от этого больно.

Но Кору Ирви голограф не снял ни разу. Только я поздно это заметил, а потому и поздно оценил.

В тот день я повел пассажиров «Эфемериды» в экскурсию по кораблю. Больше всех на такой экскурсии настаивал Тингли Челл. В его натуре была ненасытная жадность к новым впечатлениям — свойство, обычно мне импонирующее; но в нём это меня раздражало. Я не мог избавиться от ощущения, что в любознательности Практиканта присутствует какая-то корыстность, он напоминал мне охотника, для которого природа не объект восхищения, а средство наживы... И все-таки Тингли мы остались обязаны тем, что, когда раздался сигнал тревоги, все шестеро находились в единственном месте, где могли спастись, — во вспомогательной ракете. Следовательно, в определенной мере обязаны жизнью.

Вот как все произошло.

Мы собрались вместе, и только Виктор Горт остался снаружи. Он стоял у самого входа в ракету, молчаливый, сосредоточенный, голова почти вровень с нижним краем поднятой двери-заслонки. Голограф вел ставшую уже привычной охоту за нами, подстерегая то единственное, неповторимое мгновение, которое стоило оста-

новить, запечатлеть навсегда. Впервые я вдруг представил изнурительное постоянство груза, давящего на Художника, и почувствовал нечто вроде жалости к нему — жалости, смешанной с завистью, так как понимал: мне такого испытать не дано.

Я плохой рассказчик. Тингли, некоторое время внимательно слушавший мои объяснения, шумно, разочарованно вздохнув, предложил:

— Давайте сделаем так, чтобы все было по-настоящему. Ну, будто сейчас нам предстоит вылазка в космос. Предположим, Солу Рустингу захотелось прогуляться по встречному астероиду...

Рустинг поежился, растерянно улыбнулся и на самом деле сел в амортизационное кресло, лихо заявил:

— Что ж... К старту готов!

Вот так и получилось, что благодаря неугомонности Тингли мы оказались готовы к встрече с космосом в минуту, непосредственно предшествовавшую началу Распада. Впоследствии я часто думал об этом невероятном совпадении. Кора Ирви с непоколебимой убежденностью объясняла его вмешательством свыше. Меня больше занимала парадоксальность происшествия: именно Челл спас всех!..

Пассажиры «Эфемериды» в полном согласии с правилами закрепились в креслах. Игра понравилась. Кора даже раскраснелась, как девочка, не без кокетства сказала:

— Мы ждем, милый Бег...

В то же мгновение родился сигнал тревоги. Он разорвал безмятежную тишину в клочья, обрушился на нас воем сирены и алыми вспышками на стенках погрузившейся во тьму ракеты.

Остальное совершалось по ту сторону сознания; моими действиями управляли инструкция и выработанный тренировками автоматизм.

Я рванулся к пульта управления ракетой — и остановился в прыжке... если вы можете вообразить оста-

новившегося в прыжке человека. Я остановился потому, что место третьего пилота уже занимал Петр Вельд. Не знаю, как он успел там очутиться. И еще оттого, что боковым зрением засек стоявшего у входа, за порогом, Виктора Горта... Вновь коснувшись ногами пола, я бросился к голографу, схватил его за руку и швырнул в черное чрево ракеты, которое было тем чернее, что его лихорадочно озаряли молнии тревожного сигнала. Мы вместе упали в одно из амортизационных кресел, до слуха донесся мягкий стук герметически закрывшейся двери; он угодил в короткую паузу между завываниями сирены. На грудь навалилась вязкая тяжесть — стартовала ракета, и я потерял сознание. Но прежде чем алые вспышки световых табло слились в безобразно расплывшееся кровавое пятно, я успел пережить безмерное удивление: в доли секунды, которые длился мой короткий полет к Виктору Горту, он щелкнул затвором камеры! Глаза мои засекли крошечный глазок объектива, черного в обрамлении ослепительной вспышки — совершенная камера голографа автоматически среагировала на темноту, осветив объект съемки. А объектом был, несомненно, я... И все утонуло в кровавом облаке.

...Голос Вельда, отрывистый, незнакомый, приказал:
— Иди ко мне!.. Можешь?

Что только не лезет в голову в подобные минуты! Я успокоенно решил: это ничего, что он пришел в себя раньше, иначе и не могло быть... Услышал уже встревоженное:

— Тебе плохо?

— Иду!

Сблизив головы, мы смотрели на экран внешнего обзора. В значительном отдалении от нас, уменьшаясь со скоростью движения секундной стрелки на огромных часах, отчетливо была видна «Эфемерида». Страшное и странное творилось с кораблем.

Лайнер медленно вращался одновременно в двух направлениях. От этого смещались ярко-зеленые бортовые

огни, и казалось, они гаснут и зажигаются вновь — словно жутко подмигивал нам кто-то из небытия... Бортовая оптика услужливо скорректировала удаление, достигшее больших размеров, как бы отбросив «Эфемериду» назад, вернув ей реальные параметры. Лучше бы она этого не делала!

Никогда не забыть мне этой картины. У нас на глазах стройные, четко очерченные контуры корабля начали непостижимо, неправдоподобно размываться, они разламывались, расплывались, как сахар в горячей воде, лайнер будто таял в пространстве. Начали гаснуть огни, их было много, и они гасли сразу по два, по три, целыми обоймами... Огней не стало. На миг корабль слился с черной бездонностью космоса. Сверкнула молния, заставившая зажмуриться — очень ненадолго, меньше, чем на секунду. Но когда мы опять открыли глаза, «Эфемериды» больше не было.

Не знаю, как ведут себя в такой ситуации другие люди. Почему-то думаю: все — одинаково. И мы с Петром Вельдом тоже молчали целую минуту, пока он не выговорил:

— То самое, сынок...

Больше, чем за все остальное — даже за все дальнейшее, вместе взятое, — я был благодарен ему за это прерванное молчание, потому что сам ни за что не смог бы прервать его и, наверное, задохнулся бы в нем, в мертвой его холодной пустоте, распался бы душой на микроны, как распалась в пространстве недавно живая, горячая, звонкая в своей победно-радостной мощи «Эфемерида».

— Последний, третий по счету, случай космической эрозии зафиксирован восемьдесят шесть лет назад. Тогда, к счастью, распался грузовой автоматический корабль, не имевший, как все грузовики, названия и значившийся под порядковым номером КГА77/4... Причины космической эрозии до сих пор не выяснены. В настоя-

щее время она представляет единственную реальную опасность в межзвездных полетах...

Все это я выложил голосом автомата — ровным, безжизненным, тусклым. Нет, вру: кибернетическое конральто, опекавшее нас на борту «Эфемериды», было куда более одухотворенным. А главное, оно бы никогда не опустилось до столь бессмысленного занятия — излагать общеизвестные вещи.

Вельд крепко взял меня за плечо, встряхнул, как щенка (и правильно сделал, ибо я вел себя подобно щенку), однако сказал с выраженным одобрением:

— Ты запомнил правильно. Молодец, стажер.

И от этого одобрения мне стало сначала худо, а потом я пришел в себя, весь собрался, чтобы слушать дальше.

— Теперь, Бег Третий, ты — командир корабля. Ты за него — за всех нас — отвечаешь. Я ведь всего лишь «космический мусорщик»... Решай и действуй.

Никогда в своей дальнейшей жизни Бег Третий, потомок астролетчиков Бегов, ничем не будет гордиться столь откровенно, по-мальчишески упоенно, как своей работой в качестве командира вспомогательной ракеты с погибшей «Эфемериды». Я утверждаю это с полной уверенностью не только потому, что пережитого мною за время, минувшее с момента Распада до нашей посадки на планете двух солнц, иному хватило бы на целую жизнь. Но еще — и в первую очередь — потому, что знаю: оба Бега, и Первый и Второй, были бы мною довольны. И не одни они. Еще в древние времена, когда не существовало никаких мнемокристаллов, страшно даже представить, в какие незапамятные века, представители горского рода Бегишвили исповедовали и завещали потомкам правило: «Мало быть добрым. Надо служить Добру — а это значит служить Жизни — в течение всей жизни. И не «в меру сил», а отринув понятие «невозможно».

И сегодня не понимаю как, но я сделал невозможное.

Наш крохотный ковчег обладал слишком ничтожным запасом автономии. Всем пришлось погрузиться в состояние аварийного анабиоза, чтобы экономить воздух. Бесценный в положении нашем прибор «Поиск среды, пригодной для жизни человека» определил оптимальный курс в пространстве. Во избежание осложнений мы с Вельдом сделали пассажирам анабиозинъекции раньше, чем они пришли в сознание; затем Петр раздавил ампулу-шприц на собственном запястье. Что до меня, то я мог пользоваться только тщательно рассчитанными дозами снотворного. Подсознание бодрствовало, и это давало шанс справиться с непредвиденной опасностью.

Умница «Поиск» привел ракету к планете, которая была обозначена в каталоге длинным, непосвященному ни о чем не говорящим номером. Выпускнику Университета космических сообщений он говорил о самом — и в наших обстоятельствах единственно пока — важном: человек может здесь жить. Впервые мне предстояло совершить посадку без инструктора, готового исправить ошибку, которая унесла бы пять жизней — не считая моей. Что ж, коль скоро существуют эти кристаллы...

Кристалл второй. «УВИДЕТЬ — И НЕ УПУСТИТЬ»

Две ярко-желтых звезды, питающие Жизнь в мире, куда привели нас судьба и «Поиск», взошли, однако время зноя пока не настало. Мы устроились кое-как в тени ракеты, при посадке мягко опустившейся на бок; теперь она заняла такое же положение, в каком покоилась, находясь в просторном чреве «Эфемериды». Я говорю «кое-как», надеясь, что вы представите тогдашнюю нашу реальность.

Во все стороны уходила за горизонт кирпично-красная холмистая пустыня. По крайней мере в районе, где

мы оказались, она, по всем признакам, была мертва. Если не считать коротких темно-серых обрубков, нечасто разбросанных вокруг, напоминающих видом моренные валуны, высотой до метра примерно... Мы не сразу удостоверились, что имеем дело с растениями, а не причудливыми неорганическими образованиями. Для этого пришлось, во-первых, чертыхнуться Петру Вельду, эмпирическим путем убедившемуся, что у основания обрубки покрыты толстыми, достаточно острыми колючками (поэтому их называли «кактусами»), а во-вторых, распилить пару-другую. Таким образом получились не слишком неудобные «табуретки» и обнаружилась возможность развести костер — разумеется, только экзотики ради, энергия у нас была в избытке, как, впрочем, и почти все, необходимое для жизни.

Вызывающе покосившись на Петра Вельда, Челл сказал:

— В конце концов я могу отправиться на разведку и один!

На этот раз я был с ним солидарен. Начался второй день нашего пребывания здесь, а Вельд по-прежнему не разрешал отойти от кораблика. Томясь бездельем, мы места себе не находили.

Рустинг в основном молчал, а если заговаривал, то о бессельности и бренности земного существования. Кора Ирви впала в транс. Она оживлялась, только слушая Рустинга: большие речи напуганного маленького человека легко находили отклик в измученной душе. Их я, разумеется, ни в чем винить не мог, мне ведь были известны данные корабельной картотеки... А вот Практикант, хотя, повторяю, я разделял его нетерпение и тоже томился от бездействия, возмущал вздорностью своих претензий — если кому-нибудь и надо пойти на разведку, то, уж конечно, не ему... Почему раздражал Вельд — известно. Что же касается Виктора Горты, то он возбуждал во мне откровенно недобрые чувства. Это подчеркнутое спокойствие, эта переполняющая его перма-

нентная уверенность в собственной правоте... Правоте — в чем?! Задав себе последний вопрос, я испытал прямо-таки пароксизм негодования, даже трудно дышать стало, — и, испуганный этим, опомнился. Да что же со мной творится? Разве *все это*, сидящее сейчас во мне, — я?!

Рывком поднялся с обрубка «кактуса», заставил себя сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, встряхнулся... В голове приятно зашумело — атмосфера была насыщена кислородом, — прояснилось. Я повернулся к Петру Вельду, поймал его взгляд, не тяготясь от мысли, что в моих глазах — просьба о помощи, молча спросил: «В чем дело, что со всеми нами происходит? Ты, Петр, должен знать!»

Не сразу, не обращаясь ни к кому, словно бы себе отвечая, «космический мусорщик» обронил:

— Вот так и обстоят наши дела...

Тингли Челл тотчас ошетинился еще сильнее.

— Не соблаговолите ли прояснить глубинный смысл сей мудрой реплики? — иронически осведомился он. — И вообще...

— Кто мне дал право распоряжаться?

— Именно. По-моему, в наших обстоятельствах у всех — равные права.

— Пожалуйста, не надо ссориться!.. — Лицо Кору болезненно исказилось.

Вмешался я:

— «Эфемериды» погибла. Мы шестеро остались живы благодаря случайности, а еще больше — опыту и поддержке Петра Вельды.

— Вы забыли о собственных заслугах, — ядовито вставил Тингли.

Спокойно, Бег, сказал я себе, спокойно. Ты астролетчик и обязан быть на высоте. Он бесится, потому что боится. Он имеет право бояться, а ты — нет.

Стояла тишина — если иметь в виду живые голоса или хотя бы их подобие. Вместе с тем тишины, как ее понимают люди, не было: ровное, еле различимое, моно-

тонное, слышалось сухое безостановочное шуршание. Я не сразу сообразил, что это, нагреваясь и шевелясь под косыми, однако уже ощутимыми лучами солнца, шуршит кирпичный песок. Шуршит сам по себе, ничто его не тревожит. Кроме этих двух солнц. Мириады песчинок затаенно, злобно перешептывались, к чему-то готовились, что-то недоброе, гнусное замыслили... Услышав в своем смятенном сознании эти, прямо скажем, неподобающие астролетчику метафорические словосочетания, я удивился и устыдился в одно и то же время. И — понял.

Не было у меня никакого права осуждать товарищей, потому что сам я находился в таком же, как они, состоянии. Чужая планета протестовала против вторжения незваных гостей и старалась изгнать из своего лона. Если бросить в холодную воду раскаленный камень, то она зашипит, заклокочет, возмущенная контактом с чужеродным телом, и будет беситься, пока не убьет в нем жар жизни, не погасит самобытность пламени... Мертвая планета не желала принять нас — дышащих, думающих, чувствующих, говорящих и своими голосами нарушающих ее тусклое, шуршащее молчание... Опять увлекся, одернул я себя и сказал:

— Нет, не забыл. Но речь идет не о чьих-либо заслугах. Я лишь хочу напомнить, что опыт Петра Вельда дает ему в данной ситуации больше прав решать, чем имеем мы все, вместе взятые. И скажу вам честно, Тингли Челл: не хотел бы я сейчас быть на его месте... Словом, лично я готов выполнить любое указание Вельда.

— Я тоже. — Голос подошедшего Виктора Горта был негромок и четок.

— А как же иначе?! — встрепенулась Кора Ирви. Затем все в ней опять словно умерло.

Тингли перевел дыхание, вытер пот со лба.

— Эти два солнца... — мягко начал Петр Вельд. — Этот чертов песок и огрызки бревен вместо нормальных

деревьев, этот зной, которым небо пышет, несмотря на ранний час... А ведь мы летели на Зеленый остров — благословенную планету, где полно безобидного веселого зверья и птичьих голосов, где на каждом шагу журчат студеные ручьи... Но попали сюда. Ну и что? Я знаю, вам кажется, что планета ждет не дожждется минуты, когда можно будет схватить нас, стереть в порошок, сжечь на медленном огне — и смешать пепел с этой кирпично-красной дрянью, которая имеет наглость называть себя песком... Ну, правду я говорю?.. Все это ерунда, поверьте! Нет в Пространстве планет-людоедок, маскирующихся под кислородной оболочкой. Космос совсем не так коварен, как о нем часто болтают. Если планета непригодна для жизни, она честно предупреждает об этом людей, и тогда люди посылают к ней автоматы или вообще от нее отказываются... Давайте-ка немного подкрепимся, а потом будем по-настоящему думать и решать.

Однако позавтракав, мы ощутили огромную усталость — все еще сказывалось нервное напряжение от пережитого — и благополучно заснули. В общем, день прошел без новых осложнений. А вечер принес неожиданные открытия.

Мы коротали время как могли.

Тингли попробовал рассказывать какие-то истории из собственной жизни. Ничего путного не вышло. Не потому, что ему не о чем было рассказать. За три года, минувшие после окончания гуманитарного университета, Практикант Общества попробовал себя во многих областях деятельности. Он пытался работать в жанре люминесцентной живописи, входившей последнее время в моду, — и бросил это занятие, не сумев сразу достичь успеха. Снял небольшой голографический фильм из жизни подводной фауны, не привлечший внимания. Написал психологическую повесть, которая не удалась. Тингли привлекали явления глобального масштаба, но осмысление такого рода материала для него оказалось

несовместимым с занимательностью изложения — одним из главных требований, предъявляемых к литературно-художественному произведению, так как в противном случае оно не могло конкурировать с многочисленными другими средствами отображения действительности, впечатляющая сила которых была огромна, ибо основывалась на невиданных достижениях изобразительной техники; что касается глубины и своеобразия мысли, верности жизненной правде, самобытности восприятия окружающего мира Художником, то они давным-давно стали непреложным законом творчества, без этого пишущий человек вообще не мог называться писателем. Тингли метался в поисках «настоящего дела» и успел многое повидать. Все это, оказавшись оно в центре повествования, было бы, безусловно, интересно. Но Тингли-рассказчик страдал неизлечимой болезнью. Вы слушали его — и у вас появлялось ощущение, что во всех событиях, описаниях и так далее по-настоящему важно одно: неповторимо сложная личность самого Челла, его потрясающе оригинальное отношение к вещам, тонкость переживаний и незаурядность неожиданных суждений. Остальное было второстепенно, существовало лишь постольку, поскольку в той или иной степени имело отношение к нему самому. Выходило утомительно. У слушателей рождалось чувство смутной вины перед рассказчиком.

Практикант это уловил, прервал себя чуть ли не на полуслове, ушел в дальний угол, мрачно уселся в амортизационное кресло, превращенное в постель.

Я попросил Петра рассказать что-нибудь о его работе. Он прищурился:

— Стоит ли? Мусор — всегда мусор, даже если сгребашь его в космосе. Среди нас есть дама, а я, хоть и изрядно постарел, не забыл еще правила хорошего тона...

Отшутившись так, он снова застыл перед экраном внешнего обзора, продолжая что-то выискивать в окружающей нас однообразной коричневой пустыне, хотя, на

мой взгляд, это было заведомо безнадежное занятие.

Меланхолический взор Рустинга, который привычно прямо сидел в своем кресле, упал на голографическую камеру-альбом, лежавший на коленях Виктора Горта, — ни дать ни взять древний следопыт-охотник с винчестером.

— А не согласитесь ли вы показать нам ваши снимки?

Странная была у Горта улыбка.

— Вряд ли они могут развлечь... Но если угодно — пожалуйста.

В камеру, как вам уже известно, было вмонтировано и проекционное устройство. Рустинг опасливо придавил кнопку... Все мы невольно подались назад, чтобы в следующую секунду сконфуженно опомниться; слишком правдоподобной была иллюзия.

В острые, чугунно отсвечивающие черные скалы на огромной скорости врезался аэрокар. Снимок изображал не катастрофу — испытание. Я вспомнил: в прошлом году газеты сообщали об изобретении, практически сводившем к нулю опасность для пассажиров, если они попадут в такую переделку. Однако все здесь, в двух-трех метрах от нас, было подлинным — яростная встреча несокрушимых тканей аэролета с гранитом, сумасшедший изгиб сверхпрочного материала, противящегося громадной силе удара, и несколько крупных, как спелые вишни, высеченных при этом искр... А за прозрачным колпаком — лицо пилота, решившегося на безумный прыжок. Его не назовешь маской, хотя оно окаменело от напряжения. В затвердевших мужественных чертах — спокойная сосредоточенность человека, выполняющего ответственную, трудную работу. И только «вторым слоем» выписана готовность к встрече с неведомым, которое таит в себе опасность, а может, и гибель.

День кончился. Ворвались в иллюминатор пологие лучи двух солнц, разрушили гармонию живых красок

объемного изображения... Мы помолчали, возвращаясь в реальность, и Рустинг заменил изображение новым.

За толстой прозрачной стенкой террариума изготовилась к прыжку кобра: жутко застывшие блестящие глаза, неотвратимая угроза в грациозном наклоне стальной пружины туловища. От сочетания красоты со всепоглощающей злобой зябко становилось на душе... Снимок назывался «Апофеоз жизнеощущения». Что-то отталкивающее было в этом смешении противоречивых категорий — должно быть, неестественность их сосуществования в едином образе пресмыкающегося. Зло не имеет права быть красивым, однако собравшаяся перед прыжком змея была красива, и ничего тут не поделаешь! А вот название работы, по-моему, выражало холодный цинизм Мастера, как бы благословившего синтез несовместимых свойств. Виктор Горт сказал правду. Его произведения не могли «развлечь», они не предназначались для того, чтобы нести людям радость и отдохновение.

— Как она отвратительна... и смотрит прямо на меня! — содрогнулась Кора Ирви. — Ради бога, Сол, уберите эту змею!

Рустинг поспешил выполнить просьбу; при этом он с неумелым осуждением глянул на Художника.

...Голографические изображения, а вернее — живые, переливающиеся калейдоскопом чувств, ослепительно яркие по необычайной силе воздействия, пугающие своею подлинностью фигуры сменяли одна другую в тесном пространстве нашего замкнутого мира.

Здесь были только люди и животные; Горт не признавал неодушевленности. Разные по содержанию, однако неизменно яркие куски жизни вызвали мучительное ощущение причастности к ним. И не встретилось ни одной работы, статичной по характеру.

Грозная тишина раздумья, последнее колебание перед необратимым действием, трагическая смятенность мыслей, толкущихся в хаосе неведения и растерянности,

захлебывающаяся в безнадежности нескончаемая тоска, отточенность и устремленность ненависти, алое зарево могучего мужского гнева, разрушительный — или создающий? — взрыв эмоций, боль и счастье мощно жили в произведениях Горта. И я, кажется, впервые осознал, в чем величие его таланта и как громадна лежащая на нем тяжесть. Такому человеку можно простить все, подумал я, ибо в любом случае — даже совершив, по распространенным меркам, преступление — он будет наказан заранее, авансом; ибо, что бы ни сотворил он, нет на свете кары большей, чем непрестанная мука обнаженной и беззащитной перед бытием души Художника.

Светила чужой планеты зашли одновременно — будто двое детей, взявшись за руки, спрыгнули вместе с порога. Рустинг вновь включил проектор, и я замер, не веря глазам.

Передо мной была Мтвариса — знакомо гибкая, чуткую угловатая, как подросток, у которого затянулся период формирования, черноволосая... Сразу было видно: она давно уже стоит вот так неподвижно и не собирается что-либо предпринять, словно смирилась с большой неизбежной потерей и теперь неспешно, как всегда добросовестно, старается осмыслить совершившееся... В узких глазах нет ни печали, ни обиды, одно легкое удивление человека, понимающего, что он еще не все понял до конца. В незавершенной улыбке — вопрос и ожидание... В общем, стоит себе девушка, от которой что-то или кто-то ушел, и она не решила пока, насколько это важно.

— Ничего себе девушка, — оценил Тингли. — Только... зачем она?

Кора Ирви — она уже давно сидела рядом с Практикантом, то ли случайно переменяв место, то ли стараясь быть подальше от слишком живых гортовских зверей и людей, — положила ему руку на плечо, объяснила мягко:

— Она любит... И еще не знает, с ней ее любовь или уже ушла.

Оказывается, Петр не так уж неотрывно наблюдал за панорамой, развернувшейся на экране. Он просто-душно одобрил:

— Точно подмечено! Ясное дело, женщина не могла этого не увидеть... А девушка стоящая. Смелая, хорошая девушка... Гордая.

Я молчал, все еще не в силах оправиться от неожиданности.

Мтвариса — в альбоме Виктора Горта! Откуда?.. Не психуй, шевельнулась трезвая мысль, альбом голографа не донжуанский список; мало ли где мог встретить ее Художник, которого цивилизованный мир знал как величайшего в истории искусства «охотника за мгновеньями».

Кто-то стал за моей спиной. Я обернулся, и Виктор Горт спросил:

— Вы ее знали?

Мтвариса, потерянный мною дорогой человек, действительно смотрела на нас обоих. Внезапно я увидел, ради чего голограф схватил это мгновение. Все было обыкновенно в ней, все так, как я рассказал. Но если смотреть долго и внимательно, то рано или поздно нельзя было не сказать себе: «Как же я не заметил сразу?! Она пока не знает, что именно произошло. Однако, узнав, непременно совершит *поступок*».

Будто подслушав, Вельд уверенно повторил:

— Да, стоящая девушка. Уж она никого не спросит, как ей поступить, — явно не из тех, что требуют совета, а потом на советчика сваливают вину за все, если получится неладно.

Отчетливо выговаривая каждое слово, я сказал Гарту:

— Я очень хорошо знал эту девушку, Виктор Горт.

— А я думал, что знаю... Послушайте, уважаемый Рустинг, давайте-ка закончим представление. Вам не

надоело? С меня, например, достаточно. Не очень, знаете, приятно в течение столь внушительного отрезка времени любоваться на собственные просчеты.

— Просчеты?! — горячо и несомненно искренне воскликнул Тингли Челл. — Да если б я... вот так...

— Благодарю, — серьезно ответил голограф и без тени высокомерия добавил: — Видите ли, мы видим это с разных позиций... Ну так что же — потерпевшие кораблекрушение отправляются баиньки? Утро вечера мудренее — простите за банальность.

И наступил третий день нашей робинзонады.

Теперь уже безоговорочно признанный руководителем нашей крошечной колонии Петр Вельд доверил (после некоторого раздумья) Тингли Челлу единственный ультразвуковой пистолет, оказавшийся в ракете, и Практикант принялся с упоением крушить валунообразные «кактусы» на топливо; правда, почти совершенно обезвоженные, они чересчур быстро горели. Мы разожгли великолепный костер, и Кора Ирви, при всей склонности к мистицизму, проявила себя чудесной поварихой. Аппетитный обед, приготовленный ею из консервов, всем поднял настроение, а Сол Рустинг даже решился на комплимент:

— Поразительно, достойно всяческого восхищения, что столь утонченная женщина умеет так прекрасно стряпать!

— Стряпать? — повторила она, поглядев на Рустинга тотчас затуманившимися глазами. — Мои мальчишки любили, когда я им готовила. У нас в доме почти не пользовались автокухней. Мальчишки любили все настоящее, они обожали проводить свободные дни на Птичьем Утесе — оттуда, в случае срочной необходимости, а их часто вызывали срочно, несколько минут лета на импульс-стратоплане... А я всегда терпеть не могла всей этой страшной супертехники, этих бездушных автома-

тов... Хотя кто знает, бездушны ли они на самом деле?.. — Ее миловидное, трогательно поблекшее лицо странно изменилось, в нем возникло нечто трудноопределимое, но, во всяком случае, не вполне здоровое, в голосе зазвучала одержимость. — Кто знает, может кто-то, откуда-то подсказал людям идею создать их — все эти ракеты, компьютеры, живущие независимой, непостижимой жизнью, разные там дезинтеграторы, дубль-синтезаторы, наконец?.. Я не умею верить в бога, хотя очень хотела бы, так, как верили язычники, христиане и другие, однако что-нибудь должно ведь существовать там, наверху!..

Я один знал историю несчастной женщины, но я не знал, что делать. Как ни странно, положение спас занятый, казалось, одним собой Тингли:

— Дорогая Кора, пока что оттуда ужасно шпарит солнце... Хуже того — целых два солнца, которым, судя по всему, безразлично, кого припекать... А я решительно против того, чтобы единственную в нашей грубой компании представительницу прекрасного пола испортил вульгарный загар! Накиньте-ка вот это... — И он протянул свой громадный цветастый шейный платок, через века вновь вошедший в моду среди так называемой творческой молодежи.

Кора непонимающе поглядела на него — и расплакалась, как ребенок, сбивчиво выговаривая сквозь слезы:

— Они... мои бедные мальчики... тоже так подшучивали надо мной. Они... часто... говорили, что... что я красивая и они рады, что я их мать, иначе не избежать бы братоубийственной дуэли...

Неизбежный, казалось бы, психический срыв предотвратило рыдание, и тут еще Сол Рустинг с горячностью выпалил:

— Вы действительно чрезвычайно красивы, Кора Ирви!

Он сказал это с таким неподдельным жаром, что женщина в растерянности умолкла. Я быстро заговорил

о какой-то ерунде, и обошлось... Позже, когда Кора ненадолго отлучилась, я вкратце поделился с остальными тем, что о ней знал. С человеком, чьей болезнью были горе и одиночество, стали обращаться с особой тактичной ласковостью и осторожной предупредительностью, причем даже убежденный эгоцентрист Челл ухитрялся делать это так, что она ничего не замечала. Впрочем, понадобилось совсем немного времени, чтобы понять: маленький, смешной, обычно жалкий Рустинг преображается рядом с Ирви, забывая даже о своих хронических страхах, а она, однажды обнаружив или выдумав сходство Тингли с одним из погибших сыновей, взяла Практиканта под свою материнскую опеку.

Петр Вельд сказал мне:

— Хорошо это. Когда человек думает о других, он не боится. — Подумав, добавил: — А справившись с первой трудностью, начинает верить в себя — и взрослеть. Зрелость приходит не столько с годами, сколько с преодолением... Как у тебя.

Это было неожиданно и, не скрою, очень приятно слышать.

Вечером состоялся разговор, которого ждали все, — он должен был определить наши действия. Вельд был краток:

— Незачем произносить надгробные речи. Четверо остались в Пространстве. Пусть живут их имена. Не станем мы устраивать и прощальных салютов — последняя вспышка «Эфемериды» была достаточно яркой... — Секунду его лицо оставалось каменным. — Четыре человека ушли из жизни, а живые обязаны бороться до конца. Таков закон, товарищи. Мы сами его создавали. Будем же поступать так, как он велит. Теперь о нашем положении. Все понимают, до чего кстати оказалась наша экскурсия на вспомогательную ракету... А Бег успел рассказать о ней главное. Увы, применительно к нашему положению оно состоит в том, что на этом кораблике далеко не уплывешь, и сейчас могу сказать

откровенно: чудо, что мы сюда-то добрались... «Поиск» поведал о планете и много, и мало. Известно: здесь нет опасной радиации и вообще ничего, могущего повредить здоровью человека. Мы весим столько же, сколько весили на Земле. Нам не придется привыкать к иному, чем на родине, суточному циклу, а два солнца вместо одного — тоже не очень существенно и даже не составляет, как все, вероятно, успели убедиться, особых неудобств. Привыкнем и замечать перестанем. Вместе с тем мы знаем о планете ничтожно мало. Прежде всего — есть ли тут жизнь? Здравый смысл обязывает не исключать худшее: жизнь существует и к тому же в формах, которые могут нам не понравиться. Но, во-первых, я предполагаю такую возможность, единственно следуя инструкции Космического устава. Во-вторых, мы отлично вооружены — кстати, Челл, отдайте пистолет, он вам больше не нужен, — и бояться нечего. Кроме одного реального, хотя и потенциального пока что врага — дефицита воды. Я говорю «потенциального», так как в принципе на планете не может не быть воды... Отсюда — главная задача (не будет преувеличением назвать ее целью нашего существования здесь на данный момент): найти родник, озеро, речку, колодец, все равно что. Об остальном будем думать потом, однако в общих чертах не мешает коснуться и более отдаленного будущего. Вслед за тем, как «Поиск» выбрал маршрут и повел корабль сюда, наш славный командир Бег послал радиogramму в направлении наибольшей вероятности прохождения пассажирских космических трасс... Впрочем, ее запросто может перехватить и грузовик, а на каждом из них есть аппаратура на такой случай: получит — перешлет куда надо. Мало того, на подходе к планете Бег выбросил радиобуй, который стал ее спутником. Словом, я ни на миг не сомневаюсь — рано или поздно нас найдут и выручат. Нет в истории робинзонов, к которым в конце концов не приходил бы корабль. Что касается пищи, то ее нам хватит до конца

жизни (между прочим, я намерен протянуть еще не менее полувека), потому что бедная «Эфемерида» была буквально набита продуктами, и немалую их часть разместили в отсеках нашего кораблика. Продукты везли впрок на Зеленый остров, а о воде, естественно, не позаботились, там ее разлитое море... Вывод напрашивается следующий. Давайте считать, что по дороге на Зеленый остров мы передумали — решили пожить немножко на планете с более суровым климатом. А заодно поиграть в тех чудачков, которым нравились необитаемые острова... Второе: завтра на рассвете Бег Третий, Виктор Горт и Тингли Челл пойдут на разведку с единственной целью — отыскать источник пресной воды... разумеется, попрохладнее и повкуснее, иначе мы им объявим выговор, не так ли? — Коротко улыбнувшись, заключил: — Отправление в пять ноль-ноль, возвращение — не позже полудня, причем независимо от результатов экспедиции. — Тонем искреннего сожаления Петр добавил: — С превеликим удовольствием прогулялся бы сам, да только годы дают о себе знать... А ведь в кои веки раз удалось попасть на незнакомую планетку! Как говорили древние, старость не радость...

Закончив столь прозаически свою программную речь, Вельд, увязая в красном песке, поплелся в хвост ракеты. Уверен, вы сами оценили мудрость — без всякого преувеличения! — слов и поведения «космического мусорщика». Не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить, как успокоились и приободрились люди. А старый хитрец продолжал играть свою роль: его тяжелая походка уныло оповещала всех о прожитых годах и застарелой усталости. Краем глаза я увидел, как Сол Рустинг не без некоторой жалостливости поглядел вслед Петру, а затем, расправив — насколько это было возможно — сутулые плечи чиновника, мужественно улыбнулся Коре Ирви. Прежде чем скрыться за тускло поблескивающим покатым бортом нашего ковчега, Вельд как бы невзначай взялся большим и указательным паль-

цами за мочку уха. Человек, чья профессия была связана с космосом, не мог сделать это случайно. Знак требовал: «Внимание!» Внутренне подобравшись, я приготовился при первом удобном случае пойти за ним.

Да, обстановка нормализовалась. Оживился, предвкушая утреннюю вылазку, Тингли и уже рассказывал Коре и Рустингу что-то, судя по их реакции, смешное. Я решил, что мой уход останется незамеченным, когда голограф кивнул мне. Что ему надо? Против воли опять шевельнулась враждебность. Но Виктор Горт улыбался приветливо, чуть смущенно, и я подошел к нему.

— Простите мою назойливость, — сказал он. — Хотелось вам кое-что показать.

Недоумеая, я последовал за ним. У входа в ракету Художник знаком попросил остановиться, сам шагнул внутрь.

— Смотрите внимательно...

Выражение не свойственной Горту застенчивости не сходило с его лица. Он стал перед креслом, которое по штатному расписанию «Эфемериды» было моим рабочим местом, достал из кармана альбом-камеру; еле слышно щелкнул миниатюрный механизм.

В лучах заходящих солнц, освещающих ракету, возникло изображение астролетчика, распрямившего тело в стремительном прыжке. Он летел прямо на меня и смотрел расширившимися глазами прямо мне в глаза. Юное смуглое лицо было воплощением решимости, а тело — целеустремленного мышечного взрыва. Красивые отблески солнечных лучей, составлявших реальность нынешнего момента, удивительно напоминали мерцание тревожного сигнала, кричавшего о начале Распада там, на «Эфемериде», и я вновь испытал, только теперь уже сознавая это, так как глядел на себя со стороны, властное, подавившее все желание *успеть*. Но что бы то ни стало успеть к двери, прежде чем она обрушится, отрезая ракету от гибнущего корабля, — к человеку за порогом... Успеть — и спасти!

Изображение исчезло.

— Зачем? — грубо спросил я Художника. — Зачем и по какому праву вы меня преследовали все эти дни, а сейчас демонстрируете свое великолепное мастерство? Разве вам еще неясно, что мы — не друзья?

Он провел рукой по высокому, суживающемуся у висков лбу.

— Я же Художник, — сказал он так, будто это и объясняло все, и оправдывало. — Думаете, мне приятно надоедать людям? По-моему, даже животные ненавидят меня, когда я их снимаю... И вы меня спасли ведь...

И опять пришла мысль о тяжести, которую обречен нести на себе этот человек.

Однако я вспомнил девушку, готовящуюся совершить *поступок*, и непримиримо сказал:

— Все равно. Зачем это мне? Вы в таком плане не пробовали думать? И... почему, откуда — Мтвариса?!

Я не хотел этого говорить, но не удержался. Горт вновь удивил меня:

— Вчера я это понял. Но рассудите, есть ли тут моя вина?

Нельзя было ранить больше; он признавался: все было. Мне захотелось ударить его. Я боролся с этим желанием не меньше двух секунд, и за это время голограф успел сделать чудовищную вещь — вскинул камеру для съемки! Две секунды истекли. Моя вспышка прошла. Виктор Горт разочарованно опустил камеру. Он и не подумал о защите. Он увидел одно: перед ним мгновение, которое необходимо остановить, и на все остальное ему было плевать.

— Вот видите, — оказал Горт опять таким тоном, словно дальнейшее было ясно само собой. — Поверьте, нелегко жить такой жизнью, но это сильнее меня.

Ко мне вернулись гнев и возмущение:

— Ну и что? Мне-то какое дело?! Жалеть вас я не собираюсь!

Он досадливо поморщился:

— Не о жалости речь. Просто иногда нужно, чтобы тебя поняли. Вы — поймете, я почему-то уверен.

Я сделал нетерпеливое движение.

— Подождите, — потребовал голограф. — Я показал вам свой снимок, который считаю лучшим, и хочу объяснить, почему он получился.

Не знаю, что заставило меня остаться и слушать.

— Понимаете... — Выражение в упор на меня глядящих глаз было неожиданно беспомощное. — Критики увлекаются вычурными формулировками, а газеты — эффектными заголовками. Обычно это лишь уводит от главного. Криком тайны не прояснишь... Однако красивая фраза об «остановленном мгновении» у них получилась, потому что в ней выражена суть. Техника может делать чудеса и, несомненно, достигнет высот, которые сегодня нам не снятся. Убежден, она создаст изобразительные средства, перед которыми голография будет выглядеть рисунком пещерного человека. Но неизменным остается главное — *увидеть* и, применительно к моему ремеслу, *не упустить*... Все живое, неважно, великий человек или двухмесячный щенок, переживает моменты, когда достигается вершина самовыражения... Если б вы знали! — вырвалось у него. — Если бы только могли представить, как мучительно жить в постоянном напряжении, вызванном страхом упустить этот момент!.. Конечно, не любое самовыражение достойно быть запечатленным. Но я обычно догадываюсь, стоит ли игра свеч. Вот и с вами так было с самого начала. Правда, вы долго не могли стать... настоящим, что ли. В вас была неуверенность, вы боялись собственной искренности, опасались показаться смешным из-за «чрезмерной», как вам представлялось, увлеченности делом, непосредственности и энтузиазма... Как будто эти, делающие человека человеком (в числе прочих, разумеется) качества могут быть смешны! — Горт игнорировал мое протестующее движение. — Я знаю, что говорю, — помню себя таким

же... Короче, вы «сидели не на своем месте в театре». Позже увлеклись ролью космостюарда, играли — вполне искренне! — во всеобщего благодетеля, опекали Кору Ирви, Сола Рустинга, из кожи вон лезли, стараясь терпимо относиться к этому упивающемуся своими неудачами щенку Челлу, так как вообразили терпимость служебным долгом. Ваших подопечных умиляла эта трогательная заботливость, а вы, не замечая, были от себя в восторге... Получалась до того противная сладенькая тянучка, что мне хотелось запустить в вас камерой! Да уж слишком хорошо я знал, ни минуты не сомневался (со мною так бывает), что все это наносное, недолговечное, — и терпеливо ждал своего часа. Мне повезло: тревога вас преобразила, очистила от поддельного — и я, само собой, «не упустил мгновения»...

«Повезло»?! — мысленно негодуяще воскликнул я. — Он говорит о катастрофе, в которой погибли люди, четверо людей!..» И тут же понял: глупо обвинять в кощунстве Художника, одержимого вдохновением. Ведь он просто-напросто не в состоянии связать два эти явления, они для него несоединимы.

Снова, как вчера, светила разом провалились за горизонт, и автоматически зажглось внутреннее освещение. Виктор Горт молчал; у него было печальное, бесконечно усталое лицо. Но мне ли его жалеть?.. Было противно ходить вокруг да около.

— А Мтвариса?.. — спросил я. — Вы ее... очень хорошо знали?

— Да.

— И от вас она тоже... ушла сама?

— Нет, — тихо ответил голограф. — Это я ушел от нее. Хотя... Разве можно сказать с уверенностью, кто уходит и кто остается?

Не о чем было говорить больше. Я ощущал пустоту и ничего, кроме нее. Словно бежал из последних сил, больше всего на свете боясь, что соперник раньше до-

стигнет цели, — и вот там, куда мы оба стремились, ничего не оказалось...

Голос Вельда, звавшего меня снаружи, прозвучал избавлением.

Над планетой стояло небо, израненное чуждыми созвездиями. Выходило крупное щербатое ночное светило; к счастью, хоть оно было одиноко. Даже в его бледном свете поверхность приютившего нас небесного тела оставалась красной, только уже не ржаво-кирпичной — черно-бурой. Воздух был недвижим.

— Хорошо, если здесь не бывает ветра, — сказал Петр.

Мы отошли от ракеты метров на триста. Она уютно светила издали боковыми иллюминаторами. Странно, что Вельд, запретивший отходить от ракеты даже днем, затеял ночную прогулку. Ландшафт был совершенно однообразен, лишь у самого горизонта отсвечивали в звездном сиянии контуры невысоких гор.

— Здесь, — сказал мой спутник.

Не сразу я различил крестообразные следы на песке. Разглядев же, весь напрягся.

— Ночью они спят, — успокоил «космический мурсорщик» таким тоном, будто остальное мне было давно известно. — Во всяком случае, до сих пор так было, — небрежно добавил он.

Стараясь не выдать тревоги, я смотрел на Вельда. В бледном ночном свете его лицо напоминало изваянное из самого твердого метеорного вещества лицо Солдата Последней Войны — памятник на Земле, у подножия которого каждое утро лежали охапки только что сорванных цветов, специально выращиваемых многими для этой цели. И Петр Вельд улыбался!

— Что это, старший? — спросил я, понизив голос, впервые назвав его высоким словом, потому что всегда боялся высоких слов.

— Не самое страшное, сынок. Не может быть самым

страшным... Я так полагаю, исходя из своего солидного опыта «космического мусорщика», или, как принято романтически величать нашу профессию, рабочего Службы звездной санитарии, — предостаточно разной дряни пришлось навидаться... Ну, давай о деле. Зверюг, оставивших эти следы, я засек-таки на экране. Кажется, хищники, создалось впечатление — из-за добычи дрались. Однако не ручаюсь, поскольку толком разглядеть не сумел, чего стоят туристические инфракрасные наблюдатели, тебе не хуже моего известно. Вот о размерах, пожалуй, можно судить с уверенностью: чуть побольше теленка... Не слишком приятное открытие, да? Деталь, вселяющая оптимизм, — бегуны прескверные. Словом, учти все это завтра. Надеюсь все же, не нападут; всюду, где я только ни побывал, звери предпочитают уступать дорогу людям... Хорошенькая у нас репутация, а? — Он мимолетно улыбнулся, пошутил: — Не возьму, правда, в толк, каким образом несчастные земные твари просветили на наш счет своих инопланетных собратьев?.. А пистолет держи при себе на всякий случай. Возьми вот и Тингли не отдавай — он явно парень без стержня. — Вельд коснулся моего локтя. — Погляди-ка на меня повнимательнее, Бер! Ты понимаешь, что я в самом деле не имею права идти с вами? Или вместо кого-нибудь из вас...

— Конечно, Петр, — взволнованно сказал я.

Он действительно не имел права, а я очень отчетливо представлял его чувства.

Инструкция с бесстрастной жестокостью расставляла по местам все: «...Если гибель вступающего в контакт с неведомым может иметь последствия, гибельные для остальных членов коллектива, то в разведку должен идти тот или те, у кого больше шансов остаться в живых и чья жизнь, применительно к данной ситуации, представляет меньшую ценность». Вдумайтесь в формулировку, и вы поймете, что решение, принятое Петром, поистине тяжелым камнем ложилось на душу — душу

настоящего человека, разумеется. Трудно брать на себя такое: посылать навстречу опасности другого — и тем самым, во-первых, расписываться в собственной меньшей, чем у этого другого, жизнеспособности, а во-вторых, как бы прямо заявлять, что ты разделяешь мнение о своей большей ценности...

— Спасибо, Бег. Теперь пойдем.

Песок злобно повизгивал под ногами. В сущности, мы попали в отчаянное положение. Вряд ли посланный мною радиопризыв дойдет по назначению. Сомнительно, что кто-либо наткнется на радиобуй, вращающийся сейчас по круговой орбите спутника этой загадочной планеты. Конечно, здесь не может не найтись воды. Иначе откуда взялись «кактусы», чертовы «телята» (любопытно было бы посмотреть, какой длины у них зубки... Хотя лучше не надо!), а главное — кислород? К тому же мы знакомы пока с крошечным пяточком громадного, по всей вероятности, мира. Пожалуй, нас можно сравнить с горсткой туристов, которые летели в субтропики — поиграть в пинг-понг, покататься на волнах молочно теплого прибоя, весело пообедать в прибрежном ресторанчике и к ужину вернуться домой, а вместо этого оказались в центре Сахары, какой она была сотни лет назад.

В каюте было весело. Тингли с помощью часов, гребенки и шнурка от ботинок показывал фокусы. Кора Ирви тихо смеялась, смотрела на Практиканта с нежностью и восторженно ахала. Рустинг тоже был необычно оживлен, с юношеской неловкой старательностью норовил поймать лучистый взгляд женщины и страшно смущался, когда удавалось. Виктор Горт задумчиво, едва заметно улыбался, наблюдая за ними из своего кресла. О камере он явно не вспоминал.

Видимо, люди не могут без того, чтобы между ними не сложились какие-нибудь взаимоотношения, подумал я, даже если людей — горстка... Вслед за тем стало смешно от серьезности, с которой я отнесся к этому «открытию». И все равно теперь на душе было легче.

Кристалл третий. ЧЕРНЫЕ ЦВЕТЫ

Мы отправились в путь с опозданием почти на час. Причина была более чем уважительная, хотя свидетельствовала, что даже опытным космонавтам ценные идеи не всегда своевременно приходят в голову.

Уже среди ночи Петр Вельд сообразил: куда разумнее захватить в поход за водой не туристские фляги, предназначавшиеся для увеселительных прогулок по благословенным уголкам Зеленого острова, а запастись, в соответствии с реальным положением вещей, снаряжением посolidнее. Не дожидаясь нашего пробуждения, он в одиночку взялся за осуществление родившегося плана. Обнаружив завидную изобретательность и, без преувеличения, универсальные навыки, «космический мусорщик» соорудил из частей топливных баков кораблика подобие бидона литров на тридцать, если не больше; аккуратно нарезанные карманным ножом полосы пластика из обшивки салона пошли на изготовление заплечных лямок. Забавный парадокс: мы готовились к беззаботному времяпрепровождению на лоне природы, к простому, естественному образу жизни — и соответственно снарядились (отсюда, в частности, такой анахронизм, как нож), и сейчас это оказалось кстати.

Несмотря на опоздание с отправлением в поход, Вельд подчеркнул: ранее определенный срок возвращения в лагерь остается неизменным. Он настоял на следующем порядке следования — первым иду я, затем Тингли Челл, а Виктор Горт замыкает шествие. Практиканту такой порядок показался (и, право, не без основания) обидным, он было протестовал. Тогда Петр, вручив ему упомянутый бидон, веско заметил:

— Вам доверяется самое дорогое. Поэтому вас надо беречь.

И мы пошли.

Верно, повсюду на этой планете песок был одинаковый — противно-легко поддающийся под ногами, на та-

ком не разбежишься. Все же по холодку шагалось неплохо. Когда мы наконец оглянулись, наша лежащая на боку ракета напоминала уже выброшенную пустую бутылку. Ровный шаг располагал к ровным, неторопливым, необязательным мыслям.

Сколько раз я пытался представить встречу с неведомым! И вот в самом деле ступаю по девственной поверхности неисследованной планеты... но, честно говоря, не только не испытываю какие-либо особые чувства — во мне даже нет сколько-нибудь повышенного интереса к окружающему. Почему? От недостатка воображения? Знали бы вы, с чем только я не встречался в мечтах о большом космосе!.. Может, слишком поглощен задачей, которую предстоит решить? Однако мы просто идем пока в намеченном направлении (между прочим, наугад выбранном) и будем идти так сорок минут, а потом изменим направление под углом в сорок пять градусов — и опять, опять, до встречи с водой... И все-таки, ведь каждый мой шаг — это первый шаг первого человека здесь! И что же? Да ничего особенного, только кислорода непривычно много и эти два солнца... Неужели же всегда так: необычное — категория воображаемая скорее, и эта мечта, реализуясь, разочаровывает тебя на каждом шагу действительной будничностью, и ты чувствуешь себя (прошу прощения за выпренность) соколом, павшим с высоты на манящий пестрый комок — дикую утку, однако нелепо ударившимся о неживую твердость искусной подделки? А может, это присущая человеку мудрая самосохранительная способность — очень быстро где бы то ни было нацеливаться на восприятие преимущественно обыденного, тем самым защищаясь от потрясения, которое неизбежно при контакте с неземным?..

Я шел, как альпинист, глядя под ноги, и неугомонный Тингли Челл, именно в силу своего неумения сосредоточиться, первый увидел воду.

— Ура! — заорал он мне в ухо. Раздосадованный,

я сделал ему выговор — ни к чему поднимать шум в незнакомом месте. Но истинная причина моего недовольства была шита белыми нитками, и Практикант нахально ухмыльнулся во весь толстогубый рот.

Забыв об инструкции, мы, скользя по песку, сбежали к небольшой впадине, в центре которой темнел квадрат естественного колодца. Вокруг росла чахлая бледно-зеленая трава.

Воды было так мало, что, когда бидон наполнился до половины, на дне колодца осталась красная жижа... Удрученные, мы прилегли возле обманувшей надежду впадины — лениво обменивались репликами, безучастно оглядывались, расслабившись в коротком отдыхе.

Я увидел следы — точно такие же, как показанные ночью Вельдом, и не успел решить, сообщать ли об открытии спутникам. Тингли, сначала громко, затем соравшись на шепот, вскрикнул:

— Смотрите! Смотрите...

Я повернулся к Виктору Гурту. Его на месте не было.

— Берите бидон и ждите там, — я показал Челлу на гребень холма, с которого он обнаружил воду. — Никуда ни шагу! — Практикант самолюбиво вздернул подбородок, но мне было не до церемоний. — Туда невозможно подойти незамеченным, — бросил я через плечо, уже на бегу по хорошо различимым следам голографа.

Мне недолго пришлось искать его. Он лежал ничком, вытянув перед собой руки, прижавшись щекой к песку, и был, несомненно, без сознания. Но прежде чем броситься на помощь, я целую минуту стоял потрясенный.

Плоская, диаметром метров десять-двенадцать, ложбинка, где находился неподвижный Горт, была сплошь покрыта невиданными цветами. Величиной с большую грампластинку, они напоминали ромашки, только с аспидно-черными лепестками. Вероятно, этот цвет и вызвал ассоциацию с примитивной предшественницей звукокристаллов, которую я видел в музее древних искусств и даже слушал записанную на ней музыку Шопена. Много-

численные лепестки находили один на другой краями, образуя черный матовый круг, изрезанный радиальными линиями. Там, где у натуральной ромашки желтеют плотно пригнанные тычинки, в лучах светил, поднявшихся уже довольно высоко, ярко сверкала выпуклая изумрудная полусфера. Будь я сейчас в нашем университетском саду, мне все равно было бы достаточно взгляда, чтобы убедиться в неземном происхождении цветов. Тем не менее еще сильнее поражал резкий контраст между этими растениями — да и не ошибся ли я, назвав их «цветами»? — и угрюмым однообразием кирпично-красной пустыни.

Страхнув оцепенение, я бросился к Художнику, поднял его голову, плечи... Они тяжело, безвольно падали на песок. С трудом оторвав Виктора от земли, я понес его в сторону колодца.

Было душно. Ноги налились тяжестью. Из глубины желтых солнц проступала вязкая краснота — отвратительное сочетание, вызывающее образ разбитого яйца, в котором вы обнаружили следы формирующегося зародыша. Мягкие молоточки дробно стучали в затылок.

Повинуясь неясному импульсу, я оглянулся.

Цветы шевелились!

Мелкая непрерывная рябь бежала по узким аспидным лепесткам-секторам; так утренний ветерок волнует траву. Но ветра не было. Цветы словно дышали, и дыхание учащалось. Мне почудилось — изумрудные полусферы стали ярче. Что-то тускло блеснуло в темном пространстве между двумя «ромашками». Камера-альбом, с которой Горт не разлучался. Должно быть, увлекся съемкой и... Что «и»?

Последним усилием я выбрался с этой чертовой поляны, уложил голографа на спину, шагнул обратно, чтобы подобрать аппарат, — и уткнулся в незримую стену. Цветы не подпускали меня к себе! Я рванулся вперед изо всех сил, готовый в прыжке упасть на руки... Подошвы оторвались от земли — и на доли секунды я по-

вис в воздухе почти горизонтально. Невидимая стена была непробиваема.

Теперь лепестки дрожали истерической дрожью. Нечем стало дышать. Никакого особого запаха я не различал — только ставший уже привычным запах нагретого песка сухо щекотал ноздри. «Ромашки» не действовали на обоняние. Это я понял со всей определенностью, прежде чем густо налившиеся кровью солнца сорвались с белого неба, превратившись в слепящие точки, вонзились в мои зрачки... Все-таки, теряя сознание, я успел извернуться и упал ничком в сторону, противоположную черным цветам.

Мы с голографом очнулись одновременно. Его осунувшееся лицо было мокрым; быстро испарялась влага с моего лица — все сильнее стягивало кожу. А песок уже был сухим, он впитывал воду как вата, и над нами стоял растерянный Тингли... Пошатываясь, я поднялся, взял у него пугающе легкий бидон, встряхнул — вода плескалась на дне.

Нешадно палили солнца-близнецы. Недавно еще их лучи были почти ласковы... Словно светила воспользовались нашим обмороком и разом скакнули в зенит. Мы молча постояли в нескольких метрах от изумрудной полянки, как трое потерпевших крушение, чудом вырвавшихся из водоворота, не поверивших пока в свое спасение моряков.

Цветы продолжали волноваться, может, чуточку слабее.

Художник неуверенно спросил:

— А камера... альбом? — И махнул рукой.

Мы вернулись к колодцу. На дне скопился ничтожно тонкий слой влаги. Дно отсвечивало ржавчиной, однако вода была чистой и холодной. Нам удалось по очереди втянуть в себя по несколько глотков. Нечего было и пытаться восполнить вылитое из бидона Челлом, когда он приводил нас в чувство.

Следов на песке не прибавилось.

Обратный путь давался нам нелегко; тем не менее мы заставили себя спешить.

Когда на горизонте появилась ракета, Тингли с вызовом сказал мне:

— Вы, надеюсь, не подумали, что я торопился помочь вам потому, что боялся остаться в одиночестве?

Я только плечами пожал. Ну и вывернутые у этого парня мозги!

В нашем лагере царили мир и благодать. Кора Ирви наматывала на клубок синтетическую пряжу, добытую, надо полагать, из распотрошенного амортизационного кресла. Рустинг, навтыяжку сидя на обрубке «кактуса», держал нитки в растопыренных пальцах... Идиллическая картина! Нетрудно было догадаться, для кого предназначается будущее вязанье.

Петр вышел навстречу спокойный, будто мы отлучались на прогулку. Вдруг крепко сжал мне руку, чего не делал раньше. Странно, неожиданность этого жеста раскрыла передо мной рискованную суть минувшего приключения отчетливее, чем даже сама «схватка» с таинственными цветами.

Вместе с добытой набралось около двадцати литров воды; надо ли говорить, сколь катастрофически мало на шесть человек.

Позабывшись, чтобы Кора и Рустинг остались в неведении, я подробно рассказал Вельду обо всем.

— Ну что же, — невозмутимо произнес он, — мы ведь на планете икс... Завтра пойдем посмотрим вместе.

В наше отсутствие «космический мусорщик» не терял времени. Он переоборудовал экран обзора в отличный инфракрасный сторож. Стоило в радиусе километра с лишним появиться любому телу, температура которого хоть немного отличалась от температуры внешней среды, — и прибор поднимал страшный шум. Под его охраной мы удобно расположились в тени навеса, изготовленного тем же Петром.

Я сразу крепко уснул и проснулся оттого, что, за-

дыхаясь, пытался убежать от чудовищных черных лепестков, которые тянулись за мною как гигантские плоские щупальца. Страхнув сонную одурь, а заодно песчинки, колючими блохами забравшиеся в волосы, несколько ошалело уселся на обрубок и увидел перед собой Тингли Челла. Он смотрел на меня с выражением тоскливого ожидания; встретив мой взгляд, участливо спросил:

— Тоже посетил кошмар? — И, когда я небрежно кивнул, неожиданно зло усмехнулся: — Послушайте, Бег, ну почему вы такой правильный, здоровый, неиспорченный и к тому же всегда знаете, что к чему, что такое хорошо и что такое плохо, и никогда ни в чем не сомневаетесь?..

После упомянутого кошмара я не был расположен к терпимости и всепрощению.

— Вот что... Я к вам, кажется, не навязывался... Какого черта?!

Он только грустно покачал головой:

— Видите, Бег, как странно устроено человеческое сознание... Точнее, как мы ограничены в способах выражения эмоций, до чего консервативны! Давным-давно человечество приняло отставку и бога и дьявола, осознавших наконец полную свою ненужность, а наша почтенная матрона Кора Ирви болтает о чем-то, существующем «там, наверху», и даже вы, воплощение рационализма, желая высказать свою нелюбовь ко мне, не в силах обойтись без примитивных архаических восклицаний типа «какого черта»... Не печально ли это?

— Кора Ирви больна, — еще резче сказал я. — И она относится к вам (какого черта мне с ним церемониться!) значительно лучше, чем вы заслуживаете.

— Знаю. Я и о болезни Рустинга знаю — подслушал, когда вы говорили Вельду, нашему всезнающему, все умеющему, твердому телом и духом, беспредельно принципиальному и...

— Откуда в вас столько злости? — перебил я, искренне изумляясь.

— А вот оттуда! Почему вы знаете, что я не болен, как эти двое несчастеньких? Почему вы все — такие правильные, такие порядочные граждане нашего прекрасного Общества Гармонии — слепы или в лучшем случае бесконечно однобоки в оценках людей и явлений?

— Тингли, — терпеливо сказал я, сделав над собой усилие, — может, вам следует принять успокоительное? Ради бога, поймите правильно: я все-таки почти пилот и имею некоторые права Руководителя... в данной ситуации. Истерика может случиться с каждым, тут нет ничего постыдного или предосудительного...

— Ха! — фыркнул Практикант. — При чем здесь истерика! Она продолжается минуты, а то, что происходит со мной, длится не первый год. Так вы способны меня выслушать?

— Хорошо. Я слушаю.

— Вы когда-нибудь задумывались, Бег Третий, что такое Практикант Общества? Я не спрашиваю, знаете ли вы о правах, обязанностях и прочем, составляющем сущность этой социальной категории. Представляете ли вы, каково ощущать себя в названной роли — и не месяц, не два, не год, а на протяжении лет?

— Насколько мне известно, — осторожно произнес я, — категория Практиканта присваивается далеко не каждому, для этого надо выделяться из общей массы граждан, надо...

— Разумеется! — прервал он меня. — Разумеется, чтобы стать Практикантом Общества, необходимо кое-что иметь за душой — как говорится, «подавать надежды». Но знаете ли вы, что значит быть «подающим надежды»? Год, два, и три, и четыре — «подающим надежды»?! Это неплохо, даже отраднo в одиннадцать лет, когда ты поешь сольную партию в хоре мальчиков и перспектива потерять голос в переходном возрасте

представляет для тебя чисто теоретический интерес... Мы безмерно гордимся тем, что достигли уровня жизни, при котором, без малейшего ущерба для Общества, можем позволить себе содержать тысячи подобных мне практикантов. Вот, мол, перед вами открыты все пути, вы освобождены от докучливой необходимости заниматься нелюбимым делом ради хлеба насущного, вам предоставлена возможность — некогда люди о таком и не мечтали! — хоть всю жизнь искать занятие по душе... Ну же, дерзайте, испытывайте свои способности на любом поприще и не опасайтесь неудач, ибо они не крах жизненных надежд, а лишь очередная попытка: никто и ничто не мешает вам бросить начатое на половине пути и взяться за новое дело. Пишите книги. Если они окажутся бездарными, спокойно отправляйте их на переработку макулатуры в Вещи, Полезные Обществу. Сочиняйте музыку, ничего не говорящую ни уму, ни сердцу, — ее легко стереть со звукокристаллов и затем использовать их с толком. Изображайте себе на здоровье трагические метания Гамлета или мудро-циничную, драматически-честную опустошенность беззащитных душ, коими наделил своих персонажей великий Достоевский, — только не сетуйте на несправедливость судьбы, если аудиторией вашей будет зеркало или два-три многотерпеливых друга... Но ровно ни о чем не беспокойтесь! Общество взяло вас на бессрочное содержание, оно согласно кормить и одевать, предоставлять неограниченное количество холста и красок, перевозить в любые районы обжитого и не исследованного пока пространства каждого из «подающих надежды». Словом, оно не только не мешает, напротив — всемерно поощряет ваши бестолковые поиски и терпеливо ждет, когда вы найдете наконец точку приложения сил... или убедитесь в своей полной несостоятельности!

Тингли Челл, широкоплечий здоровяк с хорошо развитой мускулатурой, с первых минут знакомства не вызвавший во мне симпатии по причине шумной непо-

средственности, больше похожей на развязность, этот двадцатипятилетний, как я уже решил, оболтус, беспомощно стоял передо мной; его всегда безмятежное румяное лицо выражало неподдельную, явно застарелую боль.

— Не разумнее ли было устроено несовершенное общество наших предков? — тихо спросил он. — А может, оно поступало честнее — и гуманнее! — ставя человека в условия, когда полнота его дарования или заурядности проявлялась в процессе тяжелой, но естественной борьбы за существование?.. Знаете, получив категорию Практиканта, я был счастлив: это ведь действительно не каждому дается. А сейчас предпочел бы занимать самое скромное, однако нужное Обществу место, быть аккуратно пригнанной деталью в социальном механизме — и знать, что без меня он будет работать не так плавно. Пусть это была бы любая профессия — даже рабочего Службы звездной санитарии! Сознания нужности своей — вот мне чего не хватает.

Скажу честно, во мне росло сочувствие к нему; он, без сомнения, был искренен в ту минуту. Но когда Тингли этак походя оплевал труд «космического мусорщика» — я разозлился. Мне-то было известно, что, кроме огромной отваги, выносливости, эмоциональной устойчивости, эта работа требовала от человека высочайшей готовности к самопожертвованию, то есть подлинной нравственности.

— За чем же дело стало? — почти враждебно спросил я.

Он не услышал меня, потому что слушал себя. И продолжал:

— Я уже не говорю о том блаженном состоянии душевного покоя, что доступно счастливым, не задумывающимся о смысле — точнее, совершеннейшей бессмысленности! — жизни, о множестве других темных, сложных, мучительных вещей. Это уж от природы, с этим человек рождается, чтобы нести свой крест до конца...

Нет, я хочу немногого, и главное в этом немногом — все та же уверенность в себе. Противно повторять прописные истины, но так уж устроены люди, что им жизненно необходимо что-то уметь делать в совершенстве — будь то искусство врачевания, пилотирование звездолета или навыки землекопа... хотя эта профессия давно вымерла за ненадобностью... Ах, Бег, тяжело и унижительно быть дилетантом! А ведь когда-то Общество вынуждено было поощрять и культивировать специализацию и мечтало о нынешних временах как о фантастическом благе. В свободе от необходимости с предельным рационализмом использовать производительные силы — в том числе человека — оно видело благодатную почву для массового выращивания так называемых гармонически развитых личностей. В тогдашнем представлении последнее выглядело просто: тот же землекоп забывает на досуге о лопате и берется за виолончель, а профессор изящной словесности жонглирует двухпудовыми гирями... Как видите, все оказалось сложнее. Практически приведенная выше схема осуществлена. А счастья почему-то по-прежнему нет... Э, что говорить! Вот вы, астролетчик Бег Третий, олицетворение древней мечты о гармоническом совершенстве личности, вы — счастливы?

Что я мог ему ответить? Конечно, было жаль сго, было смутно на душе. И уж вовсе не хотелось продолжать этот разговор. Не оттого, что я безусловно отвергал сказанное Тингли Челлом. Но... еще более, чем жалок, он был мне противен. Как бы ни умно, глубоко и тонко было то, что он наговорил, я каким-то шестым чувством знал: всеми его словами и поступками руководила жалость к себе, а не пресловутая скорбь по поводу «бессмысленности» бытия. Я, конечно, многого пока не знаю и не понимаю. Однако, поверьте, далек от убеждения, что жизнь проста, как апельсин... И все-таки человек должен стремиться к простоте и ясности. Если нам дано когда-нибудь познать Сокровенное, то лишь таким

путем. А сейчас я задал Тингли вполне конкретный — возможно, не слишком уместный после его исповеди — вопрос:

— Для чего вы мне все это сказали?

— Дело в том, что, когда мы трое попали сегодня утром в эту переделку, я очень испугался — вдруг вы оба погибли...

У меня polegчало на сердце:

— Видите! Главное в вас — настоящее.

Он страдальчески заглянул мне в глаза:

— Нет. Я боялся другого — что останусь один и тоже могу погибнуть.

Перед сном я подробно пересказал Петру Вельду мой разговор с Практикантом. Это не было нескромностью: Руководитель должен знать о людях, за которых отвечает, все, особенно, если от их поведения в экстремальной ситуации может зависеть жизнь других людей. «Космический мусорщик» сказал после раздумья:

— Все это старо. Тысячи лет назад неудачники тоже обвиняли в собственной несостоятельности всех и все, только не себя. И в первую очередь Общество.

— А последнее? — вступился я за Челла. — Его последнее признание, Петр? Требуется незаурядное мужество, чтобы решиться на такое.

— Не торопись с выводами. Если человек расписался в собственной подлости, это еще не означает, что он стал другим... А что касается «оригинальности взгляда на вещи», «неожиданных поворотов мысли», «тонкости переживаний» и прочего, что тебе так импонирует в Тингли Челле, — я тебе скажу следующее. Интеллект, самобытность, даже талант — очень хорошо! Но для меня главное, чтобы человек был порядочным человеком, и я так это понимаю: в нашем положении порядочно думать и тревожиться о товарищах, а всякие там переживания надо отложить для более спокойных обстоя-

тельств... И вообще — сначала порядочность, честность, надежность для тех, среди кого живешь, а уже потом утонченность натуры и разные иные нюансы. — Он заметил колебание во мне, мягко добавил: — Я тоже не сразу к этому пришел. Настанет время — сам убедишься. Наверное, с возрастом приходит... Ну, пошли в ракету.

На следующее утро Петр Вельд сходил с Виктором Гортом к колодцу. Они отсутствовали больше трех часов и принесли полный бидон воды. Вместе с ней они принесли ошеломляющую вест: черные цветы исчезли с поляны! Исчез и альбом со снимками.

А ночью ко мне пришла Мтвариса.

Что-то заставило подняться и подойти к иллюминатору, и я увидел в черном круге, вырезанном из ночного неба, ее овальное лицо, и оно было матово-белым, прозрачным, потому что спутник планеты уже взошел. На губах Мтварисы застыла та же незавершенная улыбка, какой она улыбалась на снимке Горта. Мтвариса знакомо-решительно и вместе ласково тряхнула головой, поманила тонкой рукой, показывая куда-то через плечо, тоже щемяще родное, худенькое, слегка приподнятое... Я не удивился, потому что меня охватили нетерпение и боязнь не успеть. Я махнул ей, как прежде, когда выглядывал из окна на ее зов, поспешно оделся, осторожно, чтобы не разбудить спящих, выбрался из ракеты в прохладную неподвижную ночь. Она уже ждала у входа, я протянул к ней руки, но она легко отстранилась и пошла в сторону от корабля, ставшего нам домом, и я покорно пошел вслед.

Мы ходили долго, пока ночь не начала умирать, и говорили, говорили... Несколько раз я пытался коснуться руки или плеча Мтварисы, но она по-прежнему

легко, мягко ускользала. Когда небо на горизонте утратило уверенную тяжелую густоту черного бархата, мы вновь очутились у ракеты, и я знал, что Мтвариса придет опять, и во мне звенела благодарная радость.

У входа в ракету я лицом к лицу столкнулся с Виктором Гортом. Он отшатнулся, как будто увидел призрак. Овладев собой, наклонил голову, предлагая пройти первым. Я кивнул в ответ, бесшумно нашел свое место и тут же крепко заснул.

Я нарушил инструкцию — тем, что ни словом не обмолвился Вельду о пережитом ночью. Не смог, так как был убежден: превратив свой сон (а наутро я уже не сомневался, что это был сон) в событие, подлежащее фиксации в корабельном журнале, совершу предательство по отношению к Мтварисе. Ведь сновидение, сказал я себе, принадлежит человеку безраздельно — коль скоро оно посетило именно его, а не кого-нибудь другого... Но демагогическое это рассуждение не могло успокоить моей совести. В инструкции прямо указывалось на то, что в условиях неисследованного мира явления психического плана представляют не меньшую важность, чем объективные факторы — скажем, ветер, дождь, скачок радиации, — и потому должны быть подвергнуты анализу... Однако я не смог.

Кристалл четвертый. КОЕ-ЧТО О СТРАХЕ

Об исчезновении черных цветов и камеры-альбома голографа стало известно Солу Рустингу и Коре Ирви. Тингли имел глупость в их присутствии глубокомысленно изречь:

— Загадочное происшествие! Наша планетка начинает показывать коготки...

Рустинг побледнел. Женщина уставилась на Челла с молчаливой покорностью, явно ожидая от него каких-

то дальнейших откровений. Пришлось мне, чтобы нейтрализовать впечатление, произведенное не в меру словоохотливым Практикантом, самому рассказать все. Понятное дело, я изложил факты так, что от них и не пахло мистикой или чем-либо подобным, в заключение уверенно заявил:

— Вероятнее всего, наши друзья попросту заблудились.

Вельд утвердительно хмыкнул — весьма, впрочем, сдержанно, и тем естественнее у него получилось: с чего бы опытному космонавту радоваться элементарной оплошности? Согласно кивнул голограф. Меня удивило то, как он упорно старался не встречаться со мной глазами, — при его-то манере настойчиво и бесцеремонно пялиться на собеседника!

Однако попытка скрасить последствия Челловой неосторожности не удалась.

— Я убеждена... — Голос Кору был неестественно ровным. — Я абсолютно уверена, что мы получили предостережение *оттуда...* Там, наверное, не прощают, если человек хоть ненадолго забывает... забывает о своем горе... Если он ищет хоть капельку счастья в новой привязанности. Там не признают любви, потому что...

Она кивала в такт словам усталой красивой головой и, когда замолкала, продолжала кивать, а ее изящная худая рука сжимала, комкала вязанье, и всем было ясно, к кому относится признание в беспредельной потребности любить, заботиться, тревожиться. Всем — и нахмурившемуся Тингли тоже.

— Полно, — коснулся Петр ее вздрагивающей руки. — Вы просто устали, Кора... Все не так, как представляется вам сейчас.

«Космический мусорщик» говорил ласково, рассудительно, трезво и потому неубедительно.

Она сказала:

— Спасибо, Вельд. Большое спасибо за искренность вашего желания утешить меня и успокоить! Но не надо.

Не надо стараться, потому что вы все равно не сможете... Ведь вы не понимаете... Простите, ради бога, только вы не можете понять. Благодарю вас.

Тут прорвало Сола Рустинга. Сначала его речь была бессвязна, он путался в словах, торопясь, волнуясь, страшно стесняясь. Однако в том, что говорил маленький служащий, звучала убежденность, все более переходящая в одержимость. Скоро всем нам стало ясно — это одержимость маньяка. Я запомнил почти каждое слово. Вероятно, даже человек, обычно мыслящий до тошноты заурядно, поднимается порою до высот подлинного красноречия, и случается так в моменты, когда, забыв обо всем, освободившись поэтому от привычных оков неловкости и страха «сказать что-нибудь не так», он стремится выразить святая святых своего жизненного ощущения.

— «Спасибо, Вельд»! — неожиданно и неумело передразнил Рустинг. — Ну, разумеется, спасибо, спасибо, сотни, тысячи раз спасибо!.. Вы, Кора Ирви, и не могли ответить иначе на всю эту... галиматью. — Он с трогательным бесстрашием поглядел на «космического мусорщика». — Я повторяю: га-ли-ма-тью! Да разве он способен понять живую, страдающую душу?! Может быть, следует вам завидовать, Железный Человек. Однако я не хочу завидовать. Только ограниченность не знает сомнений и страха... — Природная деликатность заставила его спохватиться: — Не обижайтесь на меня, Вельд. Но... вы так невозмутимы с самого начала нашего дикого, похожего на кошмарный сон путешествия. Ничто вас не удивляет, ничто не в силах ужаснуть! Наверное, это и называется мужеством? Да, конечно, надо полагать, это и есть бесстрашие... А задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое настоящий страх?..

Голос Рустинга сорвался. Он как слепой пошарил по столу, нащупал стакан с водой, принесенной несколько часов назад оттуда, где был одинокий жалкий колодец,

а еще накануне — непонятно куда исчезнувшие черные цветы, выпил залпом, и мысли его приняли новое направление:

— Вы думаете, я боюсь дня, когда мы останемся без воды и все кончится. Не отрицаю — боюсь. Однако лишь несколькими днями раньше мне и в голову не приходила мысль о такой опасности. Тем не менее я боялся! — Последнюю фразу он произнес почти с гордостью, и я невольно вспомнил давешнее хвастливое самоуничижение Тингли. Нет, здесь совсем другое, подумал я, а Рустинг заключил: — Я давно боюсь... О, как я давно боюсь!

Кора, добрая душа, должно быть и впрямь созданная природой ради единственной цели — щедро дарить окружающих бескорыстной материнской любовью, наклонилась к нему, погладила бьющуюся на столе руку, с бесконечным участием спросила:

— В чем дело, Сол? Я не совсем понимаю... Расскажите нам — и, увидите, вам сразу станет легче.

Поглядели бы вы, как пылко и нежно уставился на нее Рустинг! Тингли Челл подавил смехок. Но, честное слово, ничего смешного тут не было.

— В самом деле, — сказал Горт. — Объясните-ка нам причины вашей... э-э... безнадежности в отношении к бытию. Вашего, так сказать, гиперпессимизма.

В голосе Художника я с возмущением услышал холодный интерес, даже этакое жестокое любопытство. Отрезвев от его тона, маленький человек неловко повел головой, словно ему мешал воротник:

— Мое... моя безнадежность? Вряд ли стоит...

— Конечно, Сол, конечно, — так же участливо ободрила Кора, и в этой участливости по-прежнему явно звучало: «...вам сразу станет легче».

Рустинг весь засветился:

— Если вам это действительно интересно...

Положительно, наши взаимоотношения эволюционировали на редкость быстро. Не проявляется ли тут под-

сознательное желание успеть, пока действительность не отняла у людей возможности вообще как-либо относиться друг к другу?

— Если вы настаиваете... — Сол Рустинг решил-ся. — Что ж, когда конец близок, принято исповедоваться. — Петр Вельд сделал гневное движение, Рустингом не замеченное, однако промолчал. — Всю жизнь я был чиновником, и всю жизнь — на одном и том же месте. Учреждение, в котором я служу тридцать четыре года подряд, называется Департаментом регистрации изменений в составе Общества. Каждый мало-мальски знающий древнюю историю наверняка проведет аналогию между нашим учреждением и ЗАГСом. На мой взгляд, предки наши были наделены мрачноватым чувством юмора: в ЗАГСе один и тот же человек одним и тем же пером в одной и той же книге регистрировал радость и горе — рождение и смерть, свадьбу и развод... Возможно, впрочем, что столь противоестественное сочетание обуславливалось стремлением тогдашних так называемых «государств» к разумной экономии материальных средств; но не буду отвлекаться. Прошли века — и все, как ни странно, осталось без изменений. По существу без изменений, так как последние коснулись лишь мелочей. Не стало разводов. Люди отказались от регистрации браков — вынужденной формальности — и поступили подобным образом в силу известного всем прогресса в социальной, нравственной и разных иных сферах. А рождение и смерть в незапамятные времена стали регистрироваться посредством автоматических фиксаторов этих событий. Исчезли (вновь я вынужден обращаться к помощи архаизма) *очереди*. Специально для молодых людей поясню: данным словом обозначалась аномалия, суть которой состояла в том, что гражданам, испытывавшим потребность в каком-либо жизненном благе — получении вещи, в широком смысле, или осуществлении разного рода действий — приходилось, и подчас подолгу, дожидаться, пока

аналогичную потребность удовлетворяют другие граждане, ранее заявившие о ней... Очереди возникали по различным, достаточно прозаическим причинам (о том, как иногда вели себя в них люди, я не стану рассказывать из уважения к чувствам Кору Ирви); применительно к ЗАГСам — прежде всего потому, что они не работали по выходным дням. Бывало, к сожалению слишком часто, чтобы это можно было приписать случайности, и так: некоторые люди из далекого прошлого умышленно препятствовали быстрому прохождению очередей, и...

— Зачем? — не понял я.

— О, — снисходительно улыбнулся Сол Рустинг. — Вы, уважаемый Бег Третий, сами не подозревая, задали слишком сложный вопрос. Ответить однозначно я не в силах, углубляться же в историю проблемы значило бы потратить чересчур много времени.

— А если рискнуть? — вмешался любознательный Тингли. — Дефицита времени мы, думается, не испытываем.

— Да? А если я скажу, что неблагоприятные умышленные действия чиновников преследовали корыстные цели?..

— «Корыстные»?..

— Вот вы и ответили на собственный вопрос! Нет, здесь мы ушли бы слишком далеко. Позвольте уж мне не отвлекаться.

— Разумеется, — поддержал Виктор Горт, и в его глазах зажегся огонек любопытства. — Но, если разрешите, — все же добавил Художник, — позже мы вернемся к этой теме.

Рустинг с достоинством кивнул и продолжал:

— Так вот, очередей не стало. Новый уровень общественного сознания, достигнутый человечеством, позволил перейти на заочное оформление событий, именуемых «изменениями в составе Общества». Все сделалось просто: вы извещаете по видеофону какого-нибудь

Сола Рустинга о рождении сына, он, полностью вам доверяя, изображает радостную улыбку, а затем соответствующим образом регистрирует это прекрасное событие. У вас скончался близкий — и совершается та же процедура, только вместо улыбки Рустинг живописует глубочайшую скорбь... — Внезапно он с яростью воскликнул: — Ну до чего все просто! — Потом ярость уступила место выражению безысходной тоски, смешанной с отвращением; не требовалось особого ума, чтобы догадаться — отвращения к своей профессии. У меня мелькнула мысль, что в учреждении, представляемом Рустингом; не мешает заменить чиновника. Если человек охладел к работе, которую выполняет, ему следует подыскать другую; таков один из мудрых законов Общества. Мы встретились глазами с Петром, и он едва заметно покачал головой: не торопись, мол, все намного сложнее. Реакция «космического мусорщика» на совершенно очевидные вещи привела меня в некоторое недоумение, однако еще больше я обрадовался только что сделанному открытию — мы понимали друг друга с полувзгляда, как и должно быть между астролетчиками, особенно в наших обстоятельствах.

— У наших предков было мрачноватое чувство юмора, — вновь заговорил Сол Рустинг, и в его лице и голосе были боль, тоска, застарелая безнадежность, и над всем доминировала огромная серая усталость. — Как видите, оно передалось нам. Мы тоже заносим в единую приходо-расходную книгу и смерть, и рождение. Следовательно, по существу, ничего не изменилось. И никогда не изменится, не может измениться, потому что мы люди, а люди — смертны... Пусть человечество достигло долголетия в масштабах, о которых и не мечталось древним, пусть оно почти абсолютно исключило несчастные случаи и одолело подавляющее большинство болезней... Но мы не властны над смертью как неизбежным логическим концом жизни в любых ее проявлениях. Знаете вы, сколько смертей зарегистрировал я за

три с половиной десятка лет?! За редчайшим исключением среди них не было преждевременных — того, что позволяло людям, негодуя против несчастных случаев и тому подобных обстоятельств, обманывать себя мыслью: «Он умер, потому что ему не повезло... Но мне-то такое не грозит»... Увы, сегодняшняя безопасность нашего бытия только еще более обнажает его конечность... Вот вам мой ответ, Виктор Горт, на вопрос, откуда сей «гиперпессимизм», — устало сморщил лобик Сол Рустинг. — А если впереди все равно конец, то к чему все это? — Он обвел рукой нас, скромную обстановку салона — как если бы самое жизнь заключил в предельно узкие рамочки. — Ответьте же мне — к чему?! — В тоне было странное торжество.

— Но ведь все это... Простите мою дерзость... Как бы сказать?.. — начал я.

— Жевано-пережевано, не так ли? — задиристо отозвался Рустинг. — Ну и что же, молодой человек! Разве оттого, что вы тысячу раз скажете «холодно» и тем самым как бы обесцените смысл слова, вам станет теплее? Слова стираются — смысл остается. И я вас спрашиваю: к чему непрестанно обманываться грандиозностью целей, которые мы перед собой ставим, тщетной суетностью надежд, что после нас останется нечто важное, ценное?

— Не останется даже того, что мы делаем для других из любви к ним? — негромко спросила Кора Ирви. — Бедный Сол, как вам тяжело жить!

В любви нет возраста. Возможно, в ней есть или отсутствует опыт. Рустинг был, несомненно, очень неопытным влюбленным. Судя по тому, что ни для кого не составляло уже секрета, он должен был капитулировать. В противном случае у него не оставалось права даже верить в свою любовь. Но он не сдался. Позже я понял, почему. Человек не в состоянии поступиться тем, на чем держится его личное мироздание, и это сильнее чувства.

Он бы и рад немного потесниться на своей позиции, да просто не может.

— Поймите, милая Кора, — упрямо сказал Рустинг. — Все мы обманываем себя. Не исключено, что я понимаю это лучше присутствующих только благодаря своей ужасной профессии, — скромно добавил он. — Знаете, в старину существовало понятие «надбавка за вредность». Может, у меня — профессиональное заболевание?

Последнее было сказано не без кокетства и дало мне повод, торжествуя, воскликнуть:

— Вы сами сказали!

Он немедленно парировал:

— Говоря о «профессиональном заболевании», я подразумевал обостренное чувство реальности мировосприятия — не больше и не меньше. Для вас смерть понятие абстрактное, причем не только в силу возраста. Для меня — тысячи зарегистрированных имен людей, которые жили и которых теперь нет. Понимаете? Просто *нет*... Право, иногда я завидую древним: они верили в потустороннюю жизнь... — И, не обращая на нас никакого внимания, всем своим видом, сказал Коре Ирви:—Потому что *там* я бы непременно встретился с вами!

— Вот вы и опровергли самого себя, — лениво констатировал Горт. — Не сомневался, что так случится. Если наши усилия смешны полнейшей бесплодностью, то к чему столь темпераментно отстаивать свой взгляд на вещи, к примеру?.. Да и сдается мне, что с некоторых пор жизнь не представляется вам такой уж бесцельной.

Намек был предельно прозрачен. Меня чрезвычайно покорила бестактность голографа. Практикант заерзал от восторга. А Рустинг прямо-таки взвился:

— Что вы хотите этим сказать?!

Виктор Горт, не испугавшись, пожал плечами:

— Всего-навсего, что наше существование не так уж бессмысленно, Сол... — Он улыбнулся маленькому чело-

веку с обезоруживающей сердечностью; я не подозревал в нем такой способности. — К тому же в «тайне», которую вы нам открыли невольно, нет ничего, кроме хорошего.

Сол Рустинг совершенно растерялся. Кора Ирви выглядела скорее безмятежно-спокойной, нежели смущенной. Даже Тингли ухмылялся сочувственно, отнюдь не обидно. «Космический мусорщик» украдкой мне подмигнул: мол, до чего славно, что кризис спонтанно себя исчерпал... Но не суждено было этому вечеру мирное завершение. Впереди нас подстерегало приключение. Хотя началось оно не сразу, а после очередной вспышки неуместного стремления Практиканта «разобраться, что к чему» — если помните, именно так он определил цель своего космического вояжа. Внешне между названной вспышкой и событиями, речь о которых пойдет ниже, связи нет. Однако впоследствии я пришел к выводу: то, о чем Тингли Челл говорил, в значительной степени обусловило его поведение в ночном нашем приключении... Постараюсь быть последовательным.

Прерывая несколько затянувшееся, хотя и не тягостное молчание, Тингли сказал:

— Если общество не возражает, хотелось бы поделиться кое-какими соображениями. Правда, они могут показаться не совсем уместными в данную минуту...

Общество, не знавшее, чем заняться, не возражало, и он продолжал:

— Как известно уже нашему славному астропилоту Бегу Третьему, я в своей бестолковой жизни сменил немало занятий — в том числе литератора. С позиций последнего и намереваюсь выступить... Знаете ли, что мы с вами представляем в сложившихся обстоятельствах, если взглянуть на нас глазами драматурга? Материал! Да-да, великолепное сырье, из коего можно слепить захватывающее, остросюжетное драматургическое произведение... Многоуважаемый Сол Рустинг, пусть вас не коробит такая роль. Сегодня вы настроены весьма аг-

рессивно, но, сделав над собой небольшое усилие, поразмыслив немного, обязательно поймете: иногда быть «материалом» очень даже почетно. История знает немало случаев, когда зауряднейшие индивиды, сделавшись прообразом литературного персонажа, обретали мировую известность, а то и бессмертие. Разве вы не хотите бессмертия? Учтите, оно зависит от степени авторского дарования и, следовательно, от его доброй воли, так что...

Я бы простил ему ничем не спровоцированную язвительность этого эпитета «наш славный астропилот», не обратил внимания на выпады в адрес беззащитного Рустинга. А вот возвращаться к теме смерти было незначем, она была вредоносна и опасна, и потому я позволил себе холодно осведомиться:

— Не о вашем ли, Тингли Челл, волшебном даре идет речь?

Мною двигало одно намерение — в зародыше пресечь ненужную болтовню.

Практикант насмешливо отозвался:

— Недостойный выпад! Я же вам честно сказал, что писателя из меня не получилось... — Кора Ирви укоризненно покачала головой, и я дал себе слово в дальнейшем молчать.

— Нет, — как ни в чем не бывало продолжал разглагольствовать Тингли, — на роль Художника я не претендую. Разве что попробую чуть-чуть потеоретизировать... Итак, нас тут шестеро, то есть достаточно мало, чтобы уместиться в небольшой пьесе и чтобы автору было нетрудно постоянно держать каждого в сфере внимания. Второе: мы попали в условия, когда люди вынуждены почти непрерывно общаться, взаимодействовать друг с другом. Одно это уже является предпосылкой для зарождения драматических коллизий — как, столкнувшись, покажут себя наши характеры? И третье. Против нас ополчилась целая шайка неблагоприятных факторов: нехватка воды, загадочные черные

цветы, неведомые до сих пор звери, оставившие следы на красном песке, вся эта планета с дурацкими двумя солнцами — сплошная вещь в себе! — и, наконец, грозная неопределенность в вопросе, когда и как мы отсюда выберемся, а также произойдет ли столь желанное событие когда-либо вообще...

Я потом спрашивал Петра Вельда, чего ради он позволил Тингли нести его вздор, от которого был один сплошной вред. Знаете, что он ответил?

— Видишь ли, интересно было слушать... Меня-то ничему такому не учили. И болтал он складно, тут ничего не скажешь.

Ответ меня смутил неожиданностью. Казалось бы, какое время интересоваться посторонними вещами, тем более что интеллектуальные экзерсисы Тингли дурно влияли на общий настрой? Позднее я сообразил, что вообще мы охотно выдумываем себе людей. Мне «космический мусорщик» представлялся таким безупречным руководителем, и я внутренне обязал его к идеально правильным мыслям и действиям. Как было и с Корой Ирви, несказанно удивленной мимолетным признанием Вельда, что ему тоже «разок-другой небо с овчинку казалось», недоверчиво тогда воскликнувшей: «Вы — и страх?.. Нет, конечно, это вы для нас так говорите, чтобы успокоить!» Еще я подумал: создаем модель человека, а потом не можем ему простить, если — подлинный — он в ней не уместается... Но это я между прочим.

Челла вдохновляло собственное красноречие:

— ...Заполучив подобный материал, драматург пальчики оближет! Сначала он постарается отобрать наиболее выигрышный вариант. Вот номер один: мы всего-навсего дожидаемся, когда наконец подоспеет помощь, и обеспечены буквально всем. Единственное неудобство — вынужденность совместного существования, поскольку рано или поздно заявит о себе психологическая несовместимость. Рассматриваемый вариант — бесценный подарок художнику, обожающему разного сорта

«нюансы» и «изломы» душевной конституции хомо сапиенс... Номер второй уже принципиально отличается от первого, тут привносятся осложнения внешнего порядка, объективные — нехватка продовольствия, аналогичных жизненно важных вещей. Такая приправа придаст литературному блюду остроту, элемент борьбы за выживание неизбежно обнажает личностные черты каждого, закономерно выявляя то низменное, что прежде стыдливо пряталось под одеждами хороших манер и прочих маскировочных средств... Третий вариант представляет собой усовершенствованную разновидность второго: кто-то из нас... простите, — лицемерно спохватился он, — кто-то из них попадает в беду... Понимаете пикантность поворота событий?! Один в беде, остальным ничего не грозит! Как поведут себя благополучные? В какой мере выкажут себя мужество, способность к самопожертвованию — или, скорее всего, эгоистически-трусливое стремление спастись, инстинкт самосохранения?

Челл обвел нас победоносным взглядом. Я с трудом сдерживал гнев. Мне была противна нездоровая жадность, с которой он ждал нашей реакции. Меня неприятно поразила извращенность, иначе не скажешь, его фантазии, основанной на убежденности: в человеке — любом! — таится мелкое, жалкое существо, готовое в критическую минуту предать всех и все ради того, чтобы выжить самому... Зачем исходить из *такой* оценки? Я не понимал этого потому, что с детства верил людям и думал о них хорошо. Родители поощряли эту, как сказали бы древние, «наивность»; да поначалу она и питалась незнанием. Но достиг зрелости — и уже сознательно решил для себя: лучше ошибиться, чем с самого начала, «авансом» предполагать в ком бы то ни было злое... Между прочим, в университетском курсе «Философии Контактв» научно обосновывается именно этот принцип: «Делая первый шаг навстречу представителю иного мира, полностью освободи сознание от враждеб-

ных чувств, предубежденности и даже недоверия. Дело не только в том, что иномирняин может оказаться телепатом; недоверие, являясь гипертрофированной формой осторожности, способно провоцировать на ошибки,— в том числе заведомо исключаяющие установление и развитие Контакта...» А профессор, который вел у нас данный курс, иллюстрировал идею по-своему: «Возьмем собаку — одно из, увы, немногих сохранившихся на Земле животных... Она, юнوشي, безошибочно определяет, как вы к ней относитесь — с опаской, симпатией или враждебно,— и тем же отвечает. А вот каким образом чертов пес догадывается, что у вас на душе, ума не приложу!» ...Все время отвлекаюсь и прошу простить: все-таки я ведь не писатель — астролетчик.

Так вот, к Тингли Челлу я тоже изо всех сил старался относиться как можно лучше. И тогда сумел сдержать злость, ни слова не сказал, все внушал себе: «Ты — пилот, и ты обязан...» Но если до конца честно, то было мне его жаль — он ведь многое мне рассказал о себе.

Зато Виктор Горт не стал щадить Практиканта.

— Любопытствуете, как в случае чего разделимся мы? — спросил в своей обычной манере. — Знаете, в подобных ситуациях опасно делать прогнозы... И, кроме того, чтобы решаться на это, надо быть очень уверенным в себе самом. — Затем прямо сказал: — Вы — уверены?

По всему было видно: сейчас Тингли вспылит, сейчас он наговорит голографу такого, что навсегда у любого из нас отобьет охоту сомневаться в его достоинствах.

Но он не вспылел. Наоборот, поник как-то, стушевался, ни слова не произнес... Тогда заговорил я, и руководили мною горячее желание смять, уничтожить возникшую в каюте удручающую всех нас неловкость, а также упомянутое чувство жалости к Практиканту, в этот момент особенно сильное.

— Мне кажется,— заявил я как мог беззаботно,— конфликт лишен почвы. Никакого «в случае чего» не мо-

жет быть, я абсолютно в этом не сомневаюсь! А вообще-то время позднее... Простите! — сделал вид, что подавил зевок. — Стоит ли волноваться на ночь глядя?

— Конечно, Бег, конечно, — Кора одарила меня ласковым взором. — Зачем думать и говорить о нехорошем!

— Какая разница — думать, не думать, говорить, не говорить? — мрачно спросил Рустинг. — Все равно в конце пути каждого из нас ожидает...

Впервые я увидел Петра Вельда таким.

— Довольно! — тяжело опустил он свой громадный кулак на стол. — Предоставляемой мне Космическим уставом — в настоящих условиях неограниченной — властью я запрещаю вам, Сол Рустинг, такого рода речи как вредные, упадочнические, разлагающие и опасные! Считаю долгом поставить вас в известность, что в Уставе есть статья, предусматривающая превентивные меры, которые в аналогичных случаях может и даже обязан предпринять руководитель во имя общих интересов. Астропилот Бег Третий подтвердит, если надо, мои полномочия... — Он тяжело поглядел в сторону Рустинга. — Полагаю, однако, что в последнем нет необходимости.

Даже сегодня, сравнивая этот инцидент со всем трудным и страшным, пережитым нами в дальнейшем, я считаю его самым мучительным. Потому что тогда убедился и запомнил навсегда: проявление власти в форме угрозы неотделимо от унижения — естественно, для того, против кого власть направлена. Сол Рустинг испугался, испугался в самом прямом, постыдном смысле слова, он даже непроизвольно прикрылся маленькой лапкой, словно ожидая удара, съезжился весь, снизу затравленно смотрел на «космического мусорщика»... Вельд был предельно неприятен мне в эти тягостные мгновения, хотя я знал, что он прав.

И еще одно пережитое тогда, запечатлевшееся чувство: я по сей день воспринимаю ворвавшуюся вслед за

тем в наше бытие неожиданность как избавление; порою ведь и опасность может быть избавлением, если предшествовавшее ей было мучительно и тягостно.

Пронзительно заверещал инфракрасный сторож. Опередив на этот раз Петра, я бросился к иллюминатору. Втроем, так как вслед за «космическим мусорщиком» подоспел голограф и твердо прижался к моему плечу, мы смотрели в ночную пустыню... Позволю себе короткое отступление, хотя знаю — большинству оно покажется неправдоподобным. Момент был напряженным, потому что нес в себе неизвестность, причем скорее всего опасную, а я, с враждебностью ощущая близость Горта, думал (точнее, мысль промелькнула в сознании молнией; хотя кто измерил скорость, с которой приходит и уходит мысль?): «Сложно у меня с Художником... Я должен его ненавидеть — и ловлю себя на том, что он мне нравится! Что за чушь противоестественная... И почему именно он проник в сновидение, когда Мтвариса приходила ко мне? Хотя это как раз понятно...» Мысль прервалась — я увидел их.

Синхронно нарастающему воплю сторожа к нам приближались, быстро увеличиваясь в размерах, смутно различимые в лунном свете фигурки. Сначала это были просто два пятна, надвигавшиеся на ракету, и одно преследовало другое, на первых порах заметно от него отставая, но расстояние между ними сокращалось, и еще стремительнее сокращалась дистанция, отделяющая это неведомое от нас. Вот пятна разделились на пятнышки поменьше... И вот мы уже видим: в паническом, кажется, ужасе, словно надеясь на нашу помощь, ища избавления, мчатся к ракете похожие на кроликов зверьки... А за ними, увязая в песке, неуклюже шлепая короткими лапами, однако нагоняя — несомненно благодаря своим размерам, — бегут звери куда крупнее. «Они чуть побольше телят... По-моему, хищники», — вспомнились давешние слова Вельда.

Вой инфракрасного сторожа раздирал слух, и Вельд

выключил его — как раз в ту минуту, когда «кролики» ворвались в широкий сектор света, льющегося из иллюминатора.

Зверьки замерли как по команде, устремив на ракету круглые, золотисто мерцающие глаза. Нелепо переваливаясь, точно топорно сделанные лодки на волнах, торопливо покрывали последние десятки метров те, покрупнее, и в их жадной поспешности было нечто донельзя отвратительное. Они напоминали... ну да, свиней, которые дорвались до корыта и сейчас будут тупо тыкаться в его дно, не залитое пока помоями.

— Догнали-таки, — констатировал Виктор Горт. — Вот-вот начнется... О черт, камеры нет!

«Зачем увековечивать омерзительную резню?!» — негодуяще подумал я, а в следующую секунду рефлекторно напрягся, чтобы не упасть под навалившейся сзади тяжестью.

Удлиненное лицо голографа казалось неживым, глаза остекленели, искаженный гримасой рот был приоткрыт, тело обмякло. Мы с Вельдом уложили его в ближайшее кресло, я рванул «молнию» комбинезона, припал к груди. Сердце билось ровно, сильно, неторопливо... Что за дьявольщина!

Гневный крик Тингли Челла:

— Да это же... Ах, гады!..

Взметнулась вхотная дверь, он выпрыгнул в прямоугольник возникшей за нею пустоты.

— Боже мой! — это был голос Кору Ирви.

Так быстро все произошло, что мы с Петром, склонившиеся над неподвижным Художником, не успели ей помешать.

Женщины тоже не было уже в ракете, когда снаружи послышался визг смертельно, судя по нему, раненного существа. Он оборвался, то ли сметенный хриплым ревом взбешенного Практиканта, то ли потому, что животное умерло. Лишь после этого Вельд и я бросились на помощь нашим товарищам.

Рассказ о том, как завершился этот ночной эпизод, будет приведен позднее. Потому что прежде я должен познакомить вас с записью, сделанной Виктором Гортом, хотя, понятно, сам получил ее по прошествии некоторого времени. Позволяя себе таким образом нарушить до сих пор довольно последовательное, как мне кажется, повествование, руководствуясь следующими соображениями.

Во-первых, как весьма скоро сможет убедиться каждый, само ночное происшествие не было, в конечном счете, сколько-нибудь значительным и не имело для нас почти никаких последствий — так, заурядный в условиях планеты двух солнц факт из летописи борьбы ее диких обитателей за существование; во-вторых, с самого начала я был далек от мысли написать художественное произведение, что, разумеется, освобождает от обязанности соблюдать законы какого-либо жанра; в-третьих, нет нужды читателю повторять пройденный мною путь догадок и ошибок... Виктор Горт раньше проник в суть явления, и потому — слово Художнику.

Кристалл пятый. КОНТАКТ

...Впервые Эрг пришел среди ночи. Это было после нашего второго, утомительного, однако без всяких приключений, похода за водой. Без странностей, правда, не обошлось: с поляны исчезли те самые черные цветы, которые едва не убили меня накануне (или это не было «покушением»?). А вместе с ними — добрая старая камера, прослужившая мне не один год. Огорчало не столько исчезновение аппарата, сколько другое: вместе с ним пропала целая серия снимков; среди них были, кажется, и настоящие. Надо ли говорить, что беспокоила необъяснимость происшедшего. Не польстились же на камеру существа, чьи следы мы видели у колодца! И все-таки главное — сплошной мистикой было исчезновение необычайных цветов... Или «цветов»? К сча-

стью, а может к сожалению, ваш покорный слуга способен поверить в любые чудеса. Но речь не обо мне. Забавный парадокс: именно необъяснимость факта — вчера цветы были, сегодня их нет — несла в себе заманчивую возможность найти ему вполне реалистическое и, что особенно важно, безобидное истолкование. Мы в самом деле заблудились в пустыне, — попытался внушить Петр Вельд несчастной Коре Ирви и этому истеричному меланхолику Рустингу... Неудачная, увы, попытка, смехотворное объяснение.

Не нравилась мне эта планета. Не нравилась своими нелепыми sdвоенными солнцами, бесстыдно обнаженной враждебностью к живому, которой дышал проклятый вной, и несмолкаемое шуршание песков, — будто унылый хор злобно-тупых голосов заранее пел нам отходную; не нравилась тем, как она действовала на психику — побуждая нас к резкости, обостряя отношения, вызывая конфликты, до поры до времени погасавшие, к счастью, не успевая разрастись в пожар открытой взаимной неприязни, а то и вражды, бессмысленной необъяснимой ненависти. Последнее было бы самым страшным и обидным. Я всю жизнь провел, как говорили когда-то, «на колесах», и мне доводилось быть очевидцем гибели людей вследствие того лишь, что паника и порожденные ею взаимная отчужденность, нелепо-жестокый эгоизм побуждали человека к нелогичным, не свойственным его природе, диким и позорным поступкам.

Равновесие поддерживали славный старик Вельд и этот в общем симпатичный мне мальчик, которому так нравилось, когда его величали астролетчиком Бегом Третьим. Правда, первого и в самом деле можно было сравнить при желании с безупречно отлаженным механизмом — конечно же, имея в виду только великолепную реакцию и отточенную выверенность обусловленных, вызванных ею действий; в целом я его принял. А молодой человек несколько раздражал юношески м

максимализмом — качеством, всегда немного смешным, нередко даже отталкивающим, ибо оно свидетельствует, без сомнения, об определенной ограниченности... Но за последние годы я научился терпимости (возраст дает о себе знать?) и перестал требовать от людей слишком многого. Пожалуй, у меня вообще в известной мере трансформировались критерии. Не то что безразлично теперь, богат или беден человек духовно, однако это требование, некогда главное, как бы отступило на второй план. Важнейшим сделалось нравственное начало как основа поведения в той или иной, особенно в сложной, обстановке. Проще можно сказать так: не мелок человек, не труслив, не подл, не жесток — и слава богу! Если же он еще умен, развит, утончен, то вообще отлично. Однако мое отношение к людям определяется прежде всего первым.

...Собственно, именно сформулированное выше я успел выложить Эргу в самом начале контакта. Друзей, которых у меня немного, удивила бы подобная непосредственность. Поначалу она, признаюсь, удивила меня самого. Далее, оправившись от вполне объяснимого потрясения, вызванного не слишком, мягко говоря, обычной встречей, я решил, что все в порядке, все логично, понятно и подлежит оправданию множеством обстоятельств, сопутствующих контакту. Да ведь и не с человеком я вдруг разоткровенничался — хотя привыкнуть к этой мысли, вероятно, никогда не смогу. А между тем факт остается фактом: эрги не люди, они... эрги, иначе их не назовешь. Постараюсь быть в дальнейшем более последовательным.

Итак, Эрг пришел среди ночи. Он стал перед креслом, в котором я лежал, и дождался, пока с меня слетят остатки сна. Молча сделал знак рукой — и я так послушно, даже с готовностью последовал за ним к выходу из ракеты, словно иначе и быть не могло. Да и с чего бы мне не пойти? Он был точной копией своего двойника, и я воспринял его как оригинал, а уж тот

онень даже мог пожелать со мной объясниться наедине. Мы успели порядочно удалиться от ракеты, прежде чем я убедился в своей ошибке. Остановился — на половине шага — и Эрг, шагавший легко, стремительно, так что песок коротко взвизгивал под ботинками, и острый звук этот мгновенно обрывался... Он обернулся, я встретил взгляд зорких серых глаз и ясно понял: передо мной не человек. У человека в призрачном ночном свете непременно расширились бы зрачки; у него они оставались крошечными, как острие булавки.

Должно быть, я изменился в лице, потому что Эрг быстро сказал:

— Не бойтесь, я не причиню вам вреда! Даже если бы хотел — не смог... Но я и не хочу.

— Я не боюсь!

Он засмеялся:

— Вы самолюбивы... Это смешно, не правда ли?

— Почему же. Смешно, когда самолюбие заявляет о себе по ничтожному поводу. Иначе говоря, оно может быть смешным, как все несоразмерное, не больше... — Тут я спохватился: — Да кто вы такой, черт возьми?! Ведь не...

— Нет, конечно. Я — другой. Или, точнее, *другое*... Да, разумеется, людям для установления Контакта необходимо знать, с кем они... как это? С кем они имеют дело. Простите, я узнал это недавно и потому не сразу применил новое знание. Сейчас объясню все, что уже могу объяснить. Но, если вы не против, пойдемте, пожалуйста, дальше... Видите ли, я постоянно испытываю потребность в движении... действии вообще.

Думаю, нет ничего зазорного в том, что я, голограф Виктор Горт, всю жизнь стремившийся, в соответствии с профессией, к необычному, не сразу справился с растерянностью, которую, впрочем, следовало бы назвать скорее шоком. Хотя к чему рассказывать о переживаниях? Сами по себе эмоции не представляют, на мой

взгляд, ценности. Они важны постольку, поскольку помогают проникать в сердцевину явления, — таково мое профессиональное, а пожалуй, и жизненное кредо.

Мы зашагали дальше в призрачную ночь. Я предložил:

— Говорите же... Вы — туземец?.. Нет, начинайте с чего вам удобнее.

— Сказать так значило бы исказить факты. Если не ошибаюсь, туземец, он же абориген, представляет собою плоть от плоти своей земли — и по химическому составу, и в смысле исторического родства... Да, так — у аборигена есть родословная, неотделимая от прошлого и настоящего мира, к которому он принадлежит. У меня родословной нет. Или, правильнее, она предельно коротка, хотя растет в геометрической прогрессии... И в эти минуты тоже.

— Что-то я не понимаю, — честно сказал я.

— Простите, слишком сбивчив мой рассказ. Но это не умышленно.

Разговор напоминал археологические раскопки: с каждым новым поднятым пластом обнаруживались новые находки — и каждый раз неожиданные.

— Вы — пришельцы с других миров?

— Нет, но... Как я могу вам объяснить то, что мне самому неизвестно?! — Его отчаяние не отличалось от человеческого. — Все-таки попробую дальше. Надо, наверное, начать с того, в достоверности чего не сомневаюсь. Вот, например: я ничего не знаю об остальных эргах...

— Почти по Сократу, — усмехнулся я.

— По... Сократу? А, вспоминаю... Древний философ, великий мыслитель, считавший природу непознаваемой... Но как совместить...

Час от часу не легче!

— Оставим философов. По-моему, сначала следовало бы нам прояснить некоторые другие вещи.

— Вы не хотите понять! — В голосе звучала обида. — Мне так трудно...

Хотелось упасть в песок и истерично смеяться. Вот бы взглянул на него сейчас тот, с кого он столь тщательно скопирован!.. «Скопирован»? Чтобы осуществить этот процесс, необходимы две вещи: объект, с которого снимается копия, и субъект, совершающий данную, признаюсь, не слишком мною почитаемую операцию... Смутная догадка шевельнулась во мне и сменилась нескромным чувством восхищения собственной персоной. «Черт возьми, — с восторгом и разочарованием подумал я, — неужели все так просто?! Нельзя, однако, спешить. Ни в коем случае нельзя спешить, чтобы не сбить его или, чего доброго, не перепугать до смерти». — «Опомнись, — сказал трезвый голос, — *кого и чем ты боишься испугать?*» Тем не менее я предпочел начать издали:

— А можете ли объяснить, почему назвали себя эргом, не как-нибудь иначе?

Теперь внезапно остановился он, и я по инерции проскочил дальше... Тут я должен сделать не очень лестное для себя признание. Несмотря на бесконечно привлекательную необычность происходящего, головы я, как говорится, не терял, и то, что, беседуя, мы все более удалялись от ракеты, нравилось мне все меньше. Поэтому, вернувшись к Эргу, я будто случайно продолжал идти в том же — обратном — направлении. Не заметив, он пошел рядом, в задумчивости повторил:

— «Эргом»? Действительно... — Странно, казалось бы, осмысливать слово, которым сам себя назвал. Но у меня были основания не находить это странным. Мой спутник просиял: — Ну конечно, «эрг» — термин физический, единица измерения работы, силы... Вполне естественно, что я выбрал именно это определение, — оно наиболее точно.

— Хорошо, — твердо сказал я и взял его за локоть,

точнее, хотел крепко взять за локоть, а он легко, ловко увернулся, и я почему-то не обратил на это внимания. — Хорошо. Давайте говорить прямо. Сколько вам лет? Или — дней? А может, часов и даже минут?..

Эрг сделал нечто, ошеломившее меня противоестественной в данной ситуации обыденностью, — взглянул на запястье с часами.

— Около двух часов... — Как бы прося извинения, пояснил: — Не догадался сразу засечь время. Видите ли, в первые минуты мне в голову не пришло, что я не человек.

Если подобный ответ прозвучал дико, то не для меня. И я спросил:

— А вы ощущаете себя человеком, с которого...

— Скопирован, хотите вы сказать? Не беспокойтесь, определение меня не задевает, ведь оно, по существу, правильно. Хотя и не до конца. Но вот мой вам ответ: пожалуй, не так. Прежде всего я ощущаю себя эргом.

— Да что же это, наконец, такое?! — вырвалось у меня, и я почувствовал неловкость. — Простите, я сказал о вас как о предмете. Однако и вы должны понять...

Он улыбнулся одними губами:

— Я понимаю, поверьте. Только невозможно ответить однозначно. Сказав — «прежде всего эргом», я подразумевал общее состояние, настроение, ощущения... еще кое-что, вам неинтересно это... — Не дал мне возразить, заключил: — Есть и очень многое — *от него*. — Мы словно договорились не называть человека, о котором шла речь. Эрг продолжал, и песок по-прежнему коротко взвизгивал под его ногами. — Это как запись на звукокристалле — слышишь ее впервые и узнаешь все больше. Объем моих знаний о себе непрерывно растет... Нет, знаний *о нем*, ибо я все-таки эрг.

Со стороны мы выглядели, вероятно, попутчиками, которые увлеклись разговором и потому идут быстрее, чем требуется. Но каждый раз, когда я встречал его

взгляд, тревожный холодок подкатывал к сердцу; злясь на себя, я ничего не мог с этим поделать: человек так смотреть не может, даже если бы хотел. Стоило Эргу мимолетно остановить на мне точки зрачков — и я словно натыкался на булавочные острия. Нельзя было привыкнуть, не обращать внимания; это противоречило природе вещей — максимально уменьшившиеся, будто под воздействием слепящего яркого света, зрачки, когда вокруг молочно-тусклый полумрак ночи... Мы опять слишком удалились от корабля. Долой дипломатию! — решил я и теперь уже открыто повторил маневр, поначалу совершенный как бы по нечаянности. На этот раз Эрг спросил:

— Вас что-то тревожит?

— Это понятно! — отрезал я. — Откуда мне знать, что у вас на уме?

Он добросовестно осмысливал услышанное, затем сказал не без гордости:

— Мне ясно. Я сумел увидеть ваши мысли.

Надо думать, явственно отразившийся в моем лице протест заставил его добавить:

— Неудачное выражение, не более! Просто... как это? Да, конечно, метафора. Я вовсе не телепат и, следовательно, не способен читать чьи-либо мысли. Дело в другом. «Кристалл» неумолчно звучит в моем мозгу — и вот я уже знаю о ваших отношениях с тем человеком...

— ...И данная информация вас развлекает? — резко перебил я.

Господи! Кажется, Эрг смутился.

— Как вам ответить? Конечно, нет! Но... мне неловко, что ли... Сам-то я не имею к этому никакого отношения! — Помолчав, с нажимом произнес: — Ведь я прежде всего эрг. — Открыто, насколько было для него возможно, взглянул мне в глаза и участливо, черт бы его побрал, объяснил: — Если вас что-либо должно беспокоить, то, право же, совсем другое... Не пугайтесь, я пока не уверен, но... кажется, из всех моих чувств са-

мое сильное — стремление жить, существовать. Вы понимаете, что это значит?

«Зззвизг-зззвизг!» — вскрикивал песок под его ногами.

«Зззвизг-ззззвизг!» — лезвием ножа по стеклу отзывалось у меня в ушах.

Странная ночь, мистическая ночь!

Холодная чужая луна висела над ржавой пустыней.

Понимание родилось в отдаленном уголке сознания, хлестко ударило в мозг ледяной волной — я содрогнулся:

— Вы хотите сказать...

— Да, — бесстрастно откликнулся Эрг. — Я... или мы... Не знаю, как и почему рождается жизнь. Но главное мое желание — чтобы она меня не покинула. Энергия переполняет мое существо, вы видите: я не могу остановиться... Не знаю, что я такое, но тому, кто захочет меня уничтожить, прежде самому придется прекратить существование.

Мы шагали плечо к плечу.

«Зззвизг-ззззвизг!...»

Мне было страшно. Интересно, страшнее, чем Солу Рустингу? Глупости, подумал я, нельзя сравнивать меры страха. Это все равно, что пытаться выяснить, кому было больнее — человеку, которому удаляли без анестезии зуб, или сломавшему руку. Все зависит от индивидуальных качеств, от восприятия и прочих привходящих факторов.

Каюсь, я вел себя вопреки всем рекомендациям, созданным специалистами на случай возникновения контакта с неземной цивилизацией. Но и то сказать: во-первых, еще никому не доводилось проверять правильность и универсализм этих предписаний на практике; во-вторых, я был всего-навсего Художник, а не Разведчик и, следовательно, свободен от обязанности досконально знать указанные рекомендации; и, наконец, в-третьих, можно ли было считать Эрга представителем

инопланетного, не человеческого Разума — особенно учитывая все известные обстоятельства?

А потому я задал ему вопрос, который с определенного момента — а именно с того, когда впервые прозвучало слово «скопирован», — занимал меня больше, нежели мысль о том, что Эрг может быть опасен:

— Почему из всех снимков ожил именно этот?

— Я пока не знаю, только ли он. Когда узнаю — скажу.

— Это случится сегодня?

— Не знаю.

— Значит, вы придете еще?

На мгновение почудилось: ожили иглы-зрачки! Эрг, казалось, борется с сильным неприятным чувством. Он сухо ответил:

— Конечно.

Меня вновь осенило:

— Но вам этого не хочется?

— Напротив, — угрюмо усмехнулся он. — Мне этого слишком сильно хочется!

Я понимал, что рискую, дразня этого монстра, и все-таки спросил:

— Выходит, не можете бороться с желанием лице-зреть меня? — Нет, не мальчишество было движущей силой — хотя Мтвариса не раз упрекала меня именно в мальчишестве, — а желание разобраться во всем. И я добавил: — Это, вероятно, раздражает, причем здорово, а?

Секунду или две я ждал, что он бросится на меня. Затем понял: ничего не произойдет. Право, в способности владеть собой Эрг не уступал «оригиналу». Он сказал изменившимся голосом:

— Меня тянет к вам... как ребенка к матери.

Ого! На глазах совершался процесс становления личности, и происходило это весьма быстро. Эрг очеловечивался — и заимствовал у своего прототипа далеко не лучшие черты. Чем заметнее делалось сходство, тем глу-

пее становилась ситуация. Я поймал себя на том, что почти рад встретить по-прежнему мертвенно-острый взгляд его глаз: теперь лишь это помогало сохранять чувство реальности происходящего; в противном случае пришлось бы воспринимать Эрга как человека.

Тут навалилась огромная усталость, и едва ли не равнодушно я задал последний вопрос — в сущности, наверное, главный:

— Вы говорили о жажде существовать, жить... Значит ли это, что ради ее удовлетворения — сохранения себя — вы способны на убийство?

— Убийство? — Эрг явно не понял вопроса, и я знал почему: человеку, с которого он был слеплен, даже мысленно не приходилось обращаться к этому понятию, как и всем нам. — Убийство... — повторил Эрг, судя по всему, напряженно стараясь отыскать нужное в не принадлежащей ему памяти. Нашел — и ужаснулся. Долго молчал. Ответил: — Да.

Я не успел проследить, как он исчез, словно растворившись в густом молоке неземной ночи, где все было чуждым и, верно, враждебным человеку. Возможно, я не успел оттого, что к тому времени мы подошли совсем близко к ракете и мне почудилось движение по ее другую сторону. Вглядевшись, однако ничего не увидев, я опять повернулся к Эргу... Его не было. Впрочем, пришла усталая мысль, стоит ли удивляться по ничтожному поводу после всего остального?

Ракета напоминала многоглазого спящего зверя. Огибая хвостовые дюзы, я лицом к лицу столкнулся... ну да, с Эргом! И прочел в его глазах недоумение, и понял, что наверняка уставился на него как на привидение.

Стажер Космоуниверситета Бег Третий — славный юноша, дважды спасший мне жизнь и волею дурацкого сплетения обстоятельств сделавшийся моим соперником, а следовательно, врагом, — ответил взглядом, в котором не было и тени дружелюбия. Я наклонил голову,

предлагая пройти первым, он поблагодарил так же сдержанно... Устроившись в своем кресле, я твердо решил тщательно все обдумать. И сразу заснул.

Вторично Эрг явился в самое не подходящее для визитов время — перед началом побоища, которое состоялось в свете иллюминаторов и в котором я посему не смог принять участия. Впоследствии выяснилось: для окружающих голограф Горт попросту «лишился сознания»; для меня это стало мгновенным перемещением в отдаленный район красной пустыни, откуда было невозможно ни видеть, ни слышать происходящее... И вновь была полная иллюзия физического контакта. Я воспринимал и осмысливал его речь, наблюдал выразительную мимику, сам говорил и жестикулировал, ощущал покорную податливость песка при каждом шаге... Доведись мне не пережить, а услышать о таком, я бы стал утверждать, что это был бред, галлюцинация.

Мы вновь ходили с Эргом локоть к локтю, по замкнутой кривой. Та же холодная луна стояла в небе; так же неподвижен был воздух. Тишина. И на этот раз, во всяком случае поначалу, никаких особых эмоций.

Он сказал:

— Я пришел, потому что понял некоторые вещи и должен поделиться с вами моим знанием. Эрги — это черные цветы, которые вы повстречали на поляне у колодца... Не знаю, откуда они взялись. Думаю, из дальнего космоса, так как, исходя из моих уже довольно обширных сведений об этой планете, нахожу их чужеродным явлением; слишком много различий в химическом составе... А вообще-то никакие они не «цветы». Они... это... — Он характерным движением с досадой крепко провел ладонью по лицу, по голове... Надо ли уточнять, для кого был характерен этот жест. — Безнадежно искать определение! Через ряд умозаключений я пришел к выводу: «черные цветы» — не что иное, как случайно занесенные в данный мир (или кем-то когда-то заброшенные?) семена жизни...

— Древняя гипотеза, бог весть когда возникшая теория! — перебил я, загораясь, так как данная версия зарождения Жизни во Вселенной давно привлекала меня; я видел в ней обоснование возможности, даже неизбежности существования внеземных цивилизаций. — Скептики не сумели опровергнуть ее за тысячелетия, хотя, поверьте, старались изо всех сил... Впрочем, извините.

— Не за что извинять, — странно улынулся Эрг. — Здесь вы с ним солидарны... — В его голосе родилось отчуждение. — Однако применительно к себе должен заметить — для меня это не гипотеза. Я, например, слишком хорошо знаю, что «цветы» питаются энергией солнц — или других звезд, это все равно, — ибо к утру слабею... Уверен также: если мы... если они попали сюда не случайно, то цель поставленного (кем бы то ни было) эксперимента — поглядеть, к чему приведет возникновение на планете условий для эволюционного развития «цветов» или резкого качественного скачка...

— Вы все время говорите в третьем лице — «они», «цветы»... — После короткого колебания я прямо спросил: — Хотите сказать, что сам вы нечто совсем другое?

— Так вы еще не поняли?! — Готов поклясться, не только мимика — весь его облик выражал недоумение. — Страно, *вы* — и до сих пор не поняли... Конечно же, конечно, я не то, чем был. Благодаря искусству Виктора Горта! — И, прежде чем я успел что-либо сказать, печально, с горечью добавил: — Больше мне ничего не известно... как и полагается семени, брошенному в благодатную почву.

Не было во мне изумления, и я не стал его изображать.

Да и какой Художник не лелеет в душе уверенность, что его искусство не только воссоздает — творит жизнь!

По крайней мере в процессе творчества без такой уверенности нельзя — в противном случае чем питаться вдохновению?.. Иное дело, что слишком редко подтверждается правомерность дерзкого упования. Иной опять-таки вопрос — подчас ошеломляющая неожиданность формы, в которую воплощается твой труд... Хотя какая на первый взгляд может быть «неожиданность» в обыкновенном голографическом снимке — ведь ты сам выбираешь мгновение, достойное быть запечатленным, а значит, стать явлением искусства... И тем не менее она всегда присутствует, радостная или обескураживающая, досадно-горькая или вознесшаяся на уровень открытия. Не раз случалось: я смотрел на завершённое дело рук своих — и не верилось, что оно мое. А в тех редких случаях, когда сделанное нравилось по-настоящему, я ловил себя на... зависти к автору снимка! Честное слово, ничуть не кокетничаю. Друг мой, Писатель, чье имя слишком известно, чтобы походя его упоминать, признавался: перечитывает написанное — и не в силах до конца поверить, что писал он, а не кто-то другой; и происходит это по следующей причине: не в состоянии вспомнить, как рождались слова, почему были выбраны именно те, а не другие, и вообще — с чего все началось, и когда четко, казалось бы, определенная заранее закономерность описываемых событий вдруг распалась, уступив место логике художественного мышления... Конечно, наши ремесла — внешне — не схожи. Но по существу они родные братья. Ну, как говорится, понимающий поймет. Я же позволю себе один еще вопрос. Может ли понять жаворонок, отчего он не в силах удержать в себе рвущийся на рассвете из горла гимн солнцу? Способна ли объяснить собака, что заставляет ее выть на луну?.. Не надо иронических улыбок, пусть не коробит вас кажущаяся несопоставимость приведенных примеров. Если иметь в виду природу явления, то, право же, она едина для всех случаев.

Я спросил:

— Почему именно вы? В альбоме было много снимков...

Эрг улыбнулся с нескрываемым восхищением и стал похож на астролетчика Бега Третьего больше, чем когда бы то ни было.

— Я ведь должен вас ненавидеть... Но, во-первых, я прежде всего Эрг и уж потом... А во-вторых, сдается мне, тот человек... он тоже не в силах заставить себя относиться к вам так, как, по его же мнению, вы заслуживаете... Знаете, отчего? Вы действительно Художник, Виктор Горт! Сейчас, например, увсрены, что я на все способен... Давеча видели: вот-вот на вас бросятся — и бог знает, чем кончится... Однако тогда вы думали лишь о том, какой замечательный снимок может получиться, и сейчас тоже меньше всего вас заботит опасность — реальная или мнимая, дело не в том, вы-то, простите, ни-че-го еще толком не поняли, а непонимание для вас страшнее самого страшного...

— Может быть, мы хоть на короткое время отвлекуемся от столь увлекательного занятия — изысканий в области происхождения моих чувств и мыслей? — с досадой прервал я его разглагольствования.

Эрг вновь рассмеялся, затем смутился и в результате опять поразительно стал похож на оригинал — на сей раз я сознательно опускаю кавычки, уверенный, что вам уже все ясно.

— Ладно, — сказал он, — перейду к главному. Я *не* смог бы причинить вам вред, даже если б очень захотел этого. — Одобрительно кивнул в ответ на мой, по правде говоря, мальчишеский, как я теперь понимаю, небрежный жест, спокойно продолжил: — Согласен, это еще не главное. Важнее — почему не смог бы... Так вот, вам удалось поймать мгновение, единственно тогда достойное того, чтобы его остановили. Вы схватили, по собственному вашему выражению, сердцевину явления. Затвор камеры сработал в тот момент, когда для стажера Бега Третьего не существовало ничего, кроме

стремления спасти человека — даже ценою собственной жизни... Бывают мгновения, когда люди поистине прекрасны, — и Бег переживал как раз такое мгновение. Вот и вся разгадка: я не способен на Зло.

— Выходит, все та же старая истина нашла еще одно подтверждение? Итак, Искусство — лишь там, где торжествует Добро?

— Выходит, так.

— Но вы-то почему... каким образом пришли к этой формуле? Бег Трстий — славный паренек, только вряд ли его занимают подобные материи.

— Почему же? Заблуждение делить людей на действующих и думающих. — В его лице родилось некое лукавство. — Хотя, насколько я осведомлен, подлинного Бега в свое время нешуточно мучила эта, как ему казалось, дилемма. Он был убежден, что сила, способность к четкому стремительному действию несовместимы с эмоциональным, а тем более углубленно осмысливаемым восприятием действительности; проще говоря — или Сила, или Интеллигентность... Он перестал терзаться подобными сомнениями, видимо, достигнув зрелости. А вообще-то... — Тон Эрга стал, на мой взгляд, излишне торжественным. — Я пришел к заключению, что мечты человеческие не могут быть чересчур смелыми. Люди обычно сами преувеличивают трудности на пути осуществления своих желаний, и, думается мне, в этом заключена мудрость — иммунитет от неоправданно дерзких помыслов и бессмысленных поступков... Но человек может все! — заключил он с неожиданно страстной тоской, откровенной мучительной завистью, и, не стыжусь признаться, свирепая сила объединившихся родственных сил меня испугала... Попытайтесь представить обыкновенный голографический портрет, который непостижимо превратился в натурального человека и теперь голосом далеко не миролюбивым учит вас уму-разуму, причем ему невдомек, что он декларирует прописные истины... Мысль о том, что в словах Эрга нет ничего нового, вернула мне

душевное равновесие. Носком ботинка я весело рванул шкуру пустыни, охватившей нас бесконечно просторным и вместе с тем удушливо-тесным кольцом. Гнусные клочья этой сыпучей дряни бесшумно взвились, медленно опали...

— Послушайте... как вас там — «Эрг» или «черный цветок»? Хотя все равно! Куда и, главное, зачем исчезли... вы все?

Вопрос, к большому моему удовлетворению, прозвучал требовательно, властно. Однако в тоне ответа была просто терпеливая грусть: к чему, мол, спрашивать о само собой разумеющемся, заставляя тратить силы на объяснения, без которых вполне можно обойтись? Он сказал:

— «Цветы» не исчезли — затаились только, стали невидимыми для человека... Это совсем просто. Трудно, а может и неосуществимо, другое, единственно важное: научиться жить по-настоящему... Разве жизнь — торопливо и жадно впитывать в течение всего дня жгучую энергию ради того, чтобы существовать?! А потом целую ночь ощущать, как она из тебя уходит, и каждый раз бояться, что до утра не хватит, что погибнешь... И так изо дня в день, из года в год, из века в век... Ради чего?!

Неизменно неподвижные зрачки дрогнули. Я мог поклясться, что они дрогнули и в них вспыхнули золотистые искры! Все мои мудреные построения относительно того, что я называл «Эргом», допущения, недавно почти перешедшие в уверенность, внезапно рухнули. Теперь я мог поклясться еще в одном: передо мною никакой не Эрг (или как там его называть?), а просто самоуверенный и нахальный парень Бег, которого я явно недооценил, оказался способным на искуснейшую мистификацию! В порыве гнева я протянул руку — схватить его за сильное плечо, облитое серебряной тканью комбинезона, тряхнуть как следует, разоблачить и, если сумею, задать ему хорошенькую трепку, чтоб не повадно было впредь голову мне морочить. И я схватил, и паль-

цы мои ощутили неподатливую упругость сжавшихся мышц...

— Нет, — улыбнулся он той же усталой грустной улыбкой, — не то, что вам почудилось... Но и не сон, не наваждение... — Встряхнулся, напомним красивую большую собаку, поднявшуюся на задние лапы; золотистые искры исчезли, зрачки обрели всегдашнюю колющую неподвижность. — Ах, Виктор Горт, Художник и смелый, умный человек... Вы не можете, не хотите смириться с действительностью, признать очевидное только потому, что ваше призвание — одухотворять сущее. Но поймите: хотя здесь исключительный случай, в принципе все — то же. Я — Эрг, Эрг, понимаете?! «Черный цветок», которому посчастливилось стать безраздельным обладателем живой души, созданной вашим искусством... — На мгновение его лицо исказилось. — Или — Эрг, на которого обрушилось страдание обрести душу?.. Знали бы вы, что творилось на поляне, когда «цветы» учуяли альбом с голографиями! А еще больше, когда там появились вы с вашей вечно мятущейся, беспредельно ранимой, такой могучей и одновременно уязвимой душой Художника, замкнутой и обнаженной, вместившей боль и счастье мира людей... Мы потянулись к вам и созданным вами произведениям с одинаковой жадностью, ибо не уловили никакой разницы между тем и другим.

— Вы понимали свои побуждения?

— Нет... — Он ответил очень тихо и опять был Эрг — всего-навсего «черный цветок», обретший облик стажера Космоуниверситета Бега Третьего. — Я даже не знаю, не помню, как это произошло, и почему именно я... именно мне достался астролетчик Бег, и почему ей досталась...

Внезапно Эрг замолчал, а я не обратил внимания на эту внезапность, целиком занятый, как мне тогда казалось, главным, и потому спросил не о том, о чем следовало. До сих пор не могу себе этого простить. Не

оттого, что мог что-либо изменить, — стыдно мотивов, которые мною руководили; они же были — ущемленное тщеславие и разочарованность. Я спросил:

— Сколько же всего «цветов»... ожило?

— Разве я не сказал? Нас двое...

— Выходит, только две мои работы оказались достойны того, чтобы их выбрали... формой существования?

— Конечно, — удивленно сказал Эрг. После раздумья добавил: — Вы побудили меня к размышлению. В самом деле, почему именно нам досталось это право? Надо полагать, среди «черных цветов» нет от природы равенства... Что тут — результат эволюции или производное заложенной в «семена жизни» программы? Не понимаю... Притаились, сделались невидимы все «цветы», и я не сомневался, что мы боремся за качественно высшую ступень существования с одинаковой энергией...

До меня наконец дошло: мы говорим сейчас о разных вещах. Кто же второй? Эрг, помнится, произнес слово «она»... Или «ей»?

Я ощутил страшную тяжесть в ногах, они увязали в песке, как мухи в клейкой бумаге... Следом пришло понимание: не в песке дело, он остался таким, каким был всегда, а тяжесть — от мысли, от уверенности, что я должен, обязан куда-то спешить, но не могу... Неведомо было, куда и зачем, но я твердо знал: не успею — потеряю право на самоуважение. Бежать к кораблю, к людям, которых судьба или случайность сделала моими друзьями! Скорей — и к черту Эрга, пусть катятся к дьяволу сокровенные тайны искусства, великие загадки жизни, сама сущность бытия! Человек рожден, чтобы до конца стремиться к познанию истины, однако жить он может только так, как велит совесть. Ей же истина не нужна — в особенности так называемая абсолютная. Совесть требуется лишь душевная гармония, но путь к ней лежит через тысячу битв... Я рванулся, пытаюсь сбросить наваждение.

— Все уже кончилось, — мягко сказал Эрг. — Да и не было ничего особенного... Я ухожу.

На меня тревожно-внимательно смотрел Петр Вельд. Когда я открыл глаза, он весело, чуть задыхаясь, быстро заговорил:

— Сваляли дурака! Пира́ньи, понимаете?! Обыкновенные пира́ньи, только сухопутные... Сено набросилось на козу, а я, старый болван, воображал...

— Вы бредите, Вельд. — Туман в голове еще не рассеялся. — С чего это вы так возбуждены?

Он сказал уже спокойно:

— Что с вами стряслось?

...Настоящий кристалл — первый и последний, наговоренный мною. Сейчас, когда приведено в систему записанное Бегом Третьим, я отчетливо понимаю, что так лучше: в его записях больше непосредственности, а последняя бывает иной раз куда выразительнее рассказа, который ведет человек, склонный к холодному анализу, рассудительности, критическому осмыслению событий... Пусть поэтому Бег договорит сам. Но о боище, имевшем место возле нашего кораблика, беспомощно лежавшего в песках планеты двух солнц, он настоятельно просил рассказать меня. Странная просьба, не правда ли? Ведь я единственный из всей компании не был очевидцем. Бег утверждал, что неверно думать, будто рассказ очевидца всегда наиболее достоверен. Когда человек переживает необычное, тем более страшное, он редко находит в себе силы оставаться объективным и, следовательно, лаконичным, невольно нагромождает одна на другую сотни деталей, представляющихся ему самыми важными. Вот эта сопряжена с чудовищной близостью к гибели его самого, та ярко живописует чудесное избавление... И так далее. Изложение получается больше похожим на сопровождаемое всхлипываниями повествование впечатлительного ребенка, чем на

строгий сухой отчет, каковым полагается быть записи в корабельном журнале.

Все это мой подчеркнутый недоброжелатель — и дважды спаситель — обстоятельно изложил мне в обоснование вынужденной просьбы, с привычным уже вежливым холодком присовокупив:

— К тому же вы Художник, Виктор Горт. У вас лучше получится. — И, не выдержав, отвел глаза. Тут же испытующе вновь на меня уставился. Мне стоило немалых усилий остаться невозмутимым. Дело в том, что мы оба понимали: совсем иные причины заставляют его уклониться от роли летописца в данном случае. Славный все-таки юноша. Он ошибся в оценке человека, так как хотел хорошо о нем думать, — и теперь стыдился этого! Но астролетчик Бег Третий не умел притворяться, и наградой за мою сдержанность стала непроизвольно осветившая его лицо улыбка — впервые с той минуты, как между нами встала Мтвариса, адресованная вашему покорному слуге.

...Первым из ракеты выскочил Тингли Челл. Тотчас последовал его полный отвращения и ярости крик. И ярость, отвращение были оправданны.

Лопухие зеленоглазые кролики, бежавшие от громоздких существ, которые вызвали в нас такое омерзение своей жадной торопливостью, — эти загнанные зверушки сгрудились в освещенном пространстве с видом несчастных безобидных тварей, обреченных на жесточайшее уничтожение. Они обратили круглые умоляющие глаза к иллюминаторам, будто видели в людях последнюю надежду на спасение... Кстати, позднее, когда я спокойно вспоминал происшедшее в ту ночь, возникло много вопросов, ранее в голову не приходивших. Главным для меня, пожалуй, было: неужели природа вложила в «пираний» столь изощренную хитрость и коварство, такую невероятную способность сориентироваться в не-

ожиданно сложившихся обстоятельствах (мы были первыми людьми на этой планете) и в полной мере их использовать?.. Так я и не нашел ответа.

...Когда расстояние между «преследующими» и «преследуемыми» сократилось до полутора-двух десятков метров, «кролики» все разом обернулись к наступающим на них тварям. Те сначала замерли, потом опять двинулись вперед. Нам — всем, кроме Бега, — движения показались вкрадчиво-хищными; он же сравнил их с движениями собаки, которая покорно тащится на властный зов хозяина — зная, что ее ждет наказание, но не смея ослушаться. Да, мы, несомненно, встретились с разнообразностью гипноза. Однако, повторяю, ни я, ни остальные не проникли в суть странного явления.

Тингли выбросила из корабля уверенность: сейчас коричневые звери бросятся на «кроликов», и станут давить их широкими мягкими лапами, и топтать, и мять, и брызнет гранатовый сок из пушистых маленьких тел, и померкнут доверчивые изумрудные глаза, и голубая шерстка утонет в рваных ранах — каждая в половину нежного бока зверюшки... Здесь факты вынуждают меня оспорить утверждение Бега о якобы неминуемых в рассказе очевидца издержках. Челл, еще не остывший от схватки, в которой вел себя поистине храбро, сумел очень достоверно ее описать. Его повествование было лаконично, эмоционально, образно... Право же, не исключено, что из него мог получиться писатель.

Он закричал от гнева и изумления, убедившись внезапно, что все происходит противоположно тому, как мы ожидали. Это «кролики» неожиданно кинулись на медлительных гигантов — словно крысы на выбросившихся на берег китов — и бешено заработали острыми зубами. Так натуральные кролики крошат морковь и капусту. А здесь было мясо, и в нем много алой горячей крови... Самое жуткое: впоследствии мы не обнаружили на костях, которые поспешили убрать подальше от глаз женщины, ни кусочка мяса, ни лоскутка кожи; хищники

были так тошнотворно прожорливы и мерзко проворны, что самой малой малости не упустили, издыхая, жрать продолжали.

Практикант бил «пираний» туристическим топориком по головам, стараясь попасть между ушами — он быстро сообразил, что торчащая там острая шишка их ахиллесова пята. Отвратительные в жадной торопливости своей, твари падали, опрокидываясь навзничь, долго еще щелкали частыми зубами. Те, кого не настигла пока карающая десница мстителя, неутомимо рвали несчастных увальней, а они лишь негромко тяжело вздыхали — будто коров доят... Хватит об этих тварях. Они друг друга стоили.

Я люблю людей, но отнюдь не стремлюсь просвещать их на сей счет. (Несомненно, это глупое свойство характера во многом предопределило исход наших с Мтварисой отношений, однако не о том речь.) Вместе с тем я подлинно счастлив, когда вижу, что люди достойны любви.

Следом за Тингли снаружи очутилась тихая, робкая, мило беспомощная Кора Ирви. Она спешила заслонить собой Практиканта, на которого, по ее словам, «ринулись два ужасных чудовища, чтобы растерзать в клочья»... К счастью, Петр Вельд и Бег Третий успели раньше.

Изрядно поредевшие в результате неистового Челлова вмешательства ряды маленьких разбойников ретировались с поля битвы. Покинули его и оставшиеся в живых жертвы... Остается дорисовать картину.

Начисто обглоданные скелеты на красном — ненамного, пожалуй, краснее обычного — песке. Ставший привычным негромкий металлический хруст его под ногами, когда мы торопливо уничтожали следы резни. Бесстрашный воин Тингли Челл, с гордостью, смягченной юмором, повествующий о перипетиях сражения, в то время как Кора перевязывает ему царапину на плече... И мечущийся в самой тяжелой из мужских скор-

бей — скорби непоправимо оскорбленной гордости, по-
пранного самолюбия, безысходного стыда Сол Рустинг:
парализованный первым ужасом, он так и не сумел
заставить себя выйти из корабля.

Астропилот Бег Третий, у которого были твердые
правственные принципы, подошел к Тингли Челлу, про-
тянул руку, четко произнес:

— Вы достойно вели себя. Я рад, что ошибся в вас.

Сначала недоверчиво, затем с просветленным лицом
Практикант ответил на рукопожатие. Кора Ирви едва
не прослезилась от умиления. Совсем спик, стал похож
на бесформенное пятно, удручающе жалкое на фоне
Челлова возвышения, маленький чиповник Сол. Я, по
правде говоря, несколько растерялся. А «космический
мусорщик» поглядел-поглядел на трогательную мизан-
сцену, неторопливо сказал:

— Не следовало, между прочим, вмешиваться в чу-
жие дела... Планета неисследованная, мы в ее экологии,
что называется, ни бум-бум, да и вообще Космический
устав категорически предостерегает...

— Как бы чего не вышло?! — воскликнул уязвлен-
ный в самое сердце Тингли.

Кора, конечно, вступилась:

— Ну зачем вы так, Петр Вельд! Посмотрите, какая
ужасная рана...

— Я уже смотрел, дорогая Кора, — невозмутимо
ответил тот. — Эти чертовы обрубки, что так хорошо
горят, имеют весьма отдаленное сходство с настоящими
кактусами, только колючки у них, пожалуй, одинаково
длинные и острые...

— Все равно они могли его растерзать!

— Так или иначе — Тингли Челл не испугался опас-
ности, — счел своим долгом вмешаться Бег; он хотел
быть последовательным. — Никто заранее не знал меру
риска.

— Не было никакого риска, — так же спокойно
возразил Петр Вельд. — Я тебе уже говорил, что не-

однократно и на разных мирах убеждался на собственном опыте: животное всегда старается сделать так, чтобы его путь не пересекался с путем человека, и нападает, только защищаясь, а защищается лишь в том случае, если не может убежать... Ну и еще спасая детеныша. Не думаю, чтобы все это могло нам польстить.

Я увидел лицо Тингли Челла и в который раз пожалел, что со мной нет моей камеры...

Кристалл шестой. УТОЛИТЬ ЖАЖДУ

Давным-давно (хотя Вельд, усмехнувшись, сказал, что восемь и даже десять лет назад — это не «давным-давно») я мучился, выбирая, кем стать — творцом или исполнителем... Надо заметить, что уйма воды утекла с тех времен, когда последнему понятию был присущ некий явно обидный оттенок. Я имею в виду недвусмысленный намек на само собой подразумевающуюся подчиненность Исполнителя Творцу: первый, мол, призван реализовать идею второго, и чем меньше он будет при этом думать, проявлять самостоятельности, тем лучше для дела. Чепуха, согласитесь, получалась! Выходило, к примеру, что если конструктор космического корабля — «творец», то астропилоту, который этот корабль поведет, остается лишь роль «исполнителя»... Но кем в таком случае может быть тот же конструктор в сопоставлении с ученым — специалистом в области межзвездных сообщений? А сам ученый, коль скоро все его теоретические построения держатся на незыблемых законах природы, — не является ли он исполнителем тоже идей, заложенных в мироздании, или, как говорили древние, «божьей воли»?.. Словом, оба вида деятельности привлекали меня в равной мере, так как сущность была одна — Созидание, а разница, на мой взгляд, сводилась к степени преобладания теории над практикой или наоборот. Что именно я выбрал — известно. Однако была пора, когда чаша весов склонялась в пользу «творца»,

и, опережая будущее, я мечтал о великих изобретениях. Более других (а их, поверьте, было предостаточно) манила идея создать прибор — «индикатор личных достоинств человека»... Каково, а? Подносишь этакий «дозиметр человечности» к любому — и сразу видно, с кем имеешь дело, чего стоит индивидуум... Скажу всю правду: начать я собирался с себя, потому что юность больше всего боится не опасности извне, не смерти (о ней она вообще не думает), а угрозы возможного несоответствия представлений о себе тому, чем ты можешь оказаться в действительности. Попросту говоря, нормальный молодой человек готов скорее умереть, чем опозориться — в самом широком понимании слова. Впрочем, теперь я думаю, что человек в любом возрасте должен сохранять верность этому кредо. Пусть вероятный слушатель этих кристаллов простит мне изложенные выше трюизмы. Дело в следующем. Дальнейший ход событий на планете двух солнц подтвердил, что люди останутся людьми, сколько бы тысячелетий ни вместились в историю человечества. Они будут вечно стремиться к совершенству — и никогда его не достигать. И, как в незапамятные времена, в непредставимом грядущем Красота по-прежнему будет соседствовать с Уродством, Высокое с Низким, Великое с Жалким... Меняются — в сторону повышения строгости оценок — критерии, но единообразие не будет никогда. И никогда никто не изобретет прибор, о котором я мечтал подростком. Одна жизнь определяет подлинную цену человеческой личности, выясняя, кто есть кто. Наверное, в первую очередь по этой причине автоматы никогда не смогут до конца заменить человека. Они будут в тысячи, миллионы раз быстрее считать, варьировать, мыслить, несравнимо эффективнее действовать. Но они всегда будут беспомощны там, где решение и, следовательно, исход дела предопределяются нравственным началом... А теперь я вернусь к нашему приключению. Финал его близок.

Мы шли долго, и вокруг была все та же ржавая

пустыня. На горизонте бестолково толпились пологие холмы; мы достигли их, оставили за собой, и открылся новый горизонт, где тоже были холмы, и больше никаких следов «пирааний» или коричневых увальней... «Мы» — Петр Вельд, Виктор Горт и я. Тингли остался в ракете. Во-первых, утром он казался совершенно разбитым после вчерашнего бурного вмешательства в «чужие дела», как выразился Вельд; кстати, полностью разделяя его позицию, согласующуюся с требованиями Космического устава, я оставался при своем мнении: как бы там ни было, Практикант показал себя смелым парнем. Из последнего вытекало «во-вторых» — в случае чего он мог защитить Кору Ирви и несчастного слабака Рустинга. Мне было жаль этого великого мученика — по-своему именно великого, ибо я еще не встречал человека, столь поработанного страхом. Кроме того, хотя он так и не посмел выйти из корабля, я почему-то не сомневался: ради Кору он способен на подвиг... Настало время — моя уверенность подтвердилась. И пусть то было трагическое подтверждение, я все же обрадовался ему.

Мы достигли места, где в первый раз наткнулись на «черные цветы», столь непостижимо затем исчезнувшие. Впрочем, голограф успел объяснить нам, что в действительности они не исчезали, просто сделались невидимы.

Теперь мы опять увидели их.

Они возникали словно бы из ничего. Вот один... второй... третий... «Цветы», казалось, смотрят на нас — молчаливо, жадно, с ожиданием. Они были такие же черные, с изумрудной сердцевинкой, от которой шли радиальные агатовые лепестки — крылья чудовищной стрекозы или распластанные щупальца невиданной морской звезды.

Я недосчитался двух.

Мы спустились к воде, и вдруг я оказался далеко-далеко среди пустыни — рядом с Мтварисой.

И вновь я не мог коснуться ее руки, и мы шли вме-

сте, но в этот раз песок не скрипел под ногами — я хочу сказать, что песок не скрипел под моими ботинками, ведь она, как всегда, как прежде, полудетела, и на ней было то же белое, на мой взгляд, никчемное, глупое такое среди этой поганой ржавчины, легкое платье.

Я спросил:

— Что, Мтвариса, так и должно быть?

— Наверное... А может, иначе я не умею.

Тогда я еще спросил:

— Ты его любишь?

— Нет, — сказала она, — наверное, иначе я не могу.

Это назойливое повторение одних и тех же слов было невыносимое заключение в них смысла.

— Но почему? — почти злобно спросил я. — Если не любишь, то — зачем?! Он что — больше меня?

Мтвариса улыбнулась. В этой улыбке была жалкость. Я не оговорился — *жалкость*, а не жалость. Ее глаза сделались такими... ну, такими, как бывали раньше, и она сказала (я знаю, она честно сказала):

— Я не знаю, что больше, что меньше... Понимаешь, я его просто люблю, да, конечно, я неправду только что сказала, а на самом деле — люблю. Честное слово, я в этом не виновата! Ну что мне делать? Он сложен, с ним трудно, порой плохо, я, конечно, никогда его не пойму — а женщина так не может, — и все-таки мне некуда деться... Прости, Бег. Я почему-то уверена: ты справишься с этим, и все будет хорошо. Ты — Бег Третий, а «три» счастливое число... Вам будет трудно здесь, но вы справитесь. Прощай, Бег!

Виктор Горт тронул меня за плечо, сочувственно тихо спросил:

— У вас... то же было?

Я оттолкнул его руку.

Потом началась буря, и «космический мусорщик» прокричал сквозь обрушившиеся на нас вой, визг, рев:

— Я же... говорил, что... это тихая, смирная, покладистая... планета!..

За трое суток мы не менее десятка раз предпринимали попытки отправиться в обратный путь, однако бешеный ветер, взявший в сообщники этот проклятый песок, загонял нас назад, в колодец, на дне которого лежал жалкий слой воды. Ураган оборвался внезапно — будто захлопнулась наконец гигантская дверь. Впервые за все время хлынул дождь, настоящий тропический ливень. С полным баком мы пошли к ракете, увязая в ненавистой дряни, которая была совершенно сухой: пустыня выпила дождь до капли.

Мы были готовы к самому худшему, но то, что нашли в лагере, оказалось еще хуже.

Запрокинув голову, бессильно лежала в кресле Кора Ирви: бесконечная усталость в прекрасном лице, серебряная прядь волос, отсутствующий взгляд и — самое страшное! — тихая, прощающая, мудрая улыбка. Рядом на полу сидел ошетилившийся и одновременно раздавленный Сол Рустинг; его лицо было разбито. А в дальнем углу — Тингли Челл, уставившийся, когда мы вошли, безумными глазами, вскочивший было навстречу и молча вновь опустившийся на свое место.

Я бил его не так, чтобы убить, однако было мгновение, когда руки сами схватили его за ноги, чтобы тело Практиканта описало дугу, чтобы эта многодумная голова ударилась о переборку — и хрустнул, лопаясь, череп, и брызнул мозг, который способен был смириться со случившимся... Думаю, Петр Вельд не сумел бы остановить меня. Но Ирви удалось чуть-чуть приподнять руку — и я замер, разжал пальцы, и Тингли мешком свалился, а затем выпрыгнул из кораблика, как тогда, отважно бросаясь наружу, торопясь совершить свой никчемный подвиг.

«Космический мусорщик» склонился над Корой, почтительно взял ее покорную руку, но коснулся губами седой пряди волос.

— Вам не следовало этого делать, Кора Ирви.

Она прошептала с той же тихой улыбкой — словно прощения просила:

— Он так был похож...

Никому из нас, ходивших в этот последний поход за водой, не понадобилось объяснений, когда мы вернулись, — уходя, знали, что оставляем друзей в критическом положении, а вернуться смогли только на четвертые сутки... И Кора была без сил, Тингли Челл — бодр и свеж, Рустинг избит.

Она отдавала воду этому мерзавцу, и он ее пил, а когда Рустинг хотел помешать, разбил ему лицо.

Кора Ирви умерла под утро. Я убежден: она не от жажды умерла, не так уж непоправимо поздно мы принесли воду... Ей нечем стало жить.

Тингли Челл сошел с ума и убежал в красную пустыню, крича, что он «черный цветок» и хочет к своим. Прежде чем убежать, он для чего-то умело разобрал наш жалкий передатчик, безнадежно его погубив. Мы обнаружили это поздно. Петр Вельд бросился было вдогонку, выхватил пистолет... И, разрядив его в чужое враждебное небо, отшвырнул, как это делали на дуэли наши предки, из жалости или презрения не воспользовавшись правом на выстрел.

А получилось так, что последний разряд ультразвука рассказал о нас кораблю, который уже не первые сутки, нащупав радиобуй, вращался вокруг нашей ржавой планеты... Но это было потом. Ночь нам выдалась тяжелая.

Мы похоронили Кору поблизости от корабля. Сол Рустинг не участвовал в похоронах; он остался в своем углу. Покончив со скорбной работой, мы ушли далеко от корабля. Нас увел Виктор Горт, и я не сразу понял почему. Издали мы смотрели, как Рустинг тенью выскользнул на песок, добрался до могилы, замер над

пею... Только к ночи, когда он вернулся в ракету, вернулись и мы. Прошел не один час, пока я вспомнил прощальные слова Мтварисы... того, что было Мтварисой: «Вам будет трудно...»

Сначала в иллюминаторе появилась кобра. Долго и жадно она долбила его твердой свирепой мордой. Мы не боялись, потому что идеально прозрачный материал легко выдерживал бессчетные нагрузки дикого открытого космоса. После змеи в иллюминатор врезался аэролет, запечатленный голографом — великим Художником Виктором Гортом на одном из снимков. Затем громадный белый медведь беспомощно грыз тонкую преграду, которая не пускала его к нам, и слюна стекала с белых клыков... И вот появился... я. Он (или я) постучал в иллюминатор, призывно кивнул, я послушно поднялся... Горт сказал:

— Нет.

Эрг поднял руку — левую, как я обычно прощаюсь с друзьями, и я услышал или понял:

— Завтра за вами придет корабль.

Звери, змеи, люди подходили к нашей ракете; казалось, они пытаются отворить дверь.

Петр Вельд сосредоточенно молчал; Рустинг съежился в своем углу, закрыл лицо руками; голограф, казалось, избегает встречаться с нами взглядом.

Пришла Мтвариса, и мы оба — я и Виктор Горт — бросились было к выходу. Тогда мы впервые испытали на себе спокойную мощь рук «космического мусорщика». Он положил их ладонями на наши плечи и удержал в креслах.

Опять, как бы в тысячный раз испытывая свою прочность, врезался в иллюминатор аэролет. Я сказал голографу:

— Тот, что в кабине, был настоящим! Почему же

у него не получилось, как у тех двоих? Почему он не освободился?

— Он сам был тогда машиной, Бег, — грустно отозвался Горт. — Но я лишь сейчас это понял.

— Да ведь и я тогда не вас спасал, действовал тоже как механизм... — Не удержавшись, добавил: — Какое мне, собственно, дело до вас?

— Именно потому. Вы ничего не знали, были ко мне совершенно безразличны — и все-таки спасали, рискуя собственной жизнью, ни о чем другом не думая... Вы — славный, честный, добрый звереныш, Бег! Хотелось бы и мне так...

Я не обиделся. Во мне жило предчувствие перемен, и они меня уже коснулись.

...К нам ломились пантеры с желтыми беспощадными глазами, какие-то крылатые упыри с получеловеческими лицами, даже несколько фаланг с минуту скреблось в синтестекло. И с появлением каждого нового фантома голограф становился все более мрачным. Когда последняя ящерица ткнулась под утро в иллюминатор, оставив на нем зеленый хвост-закорючку — как вещественное доказательство реальности фантасмагорической, но все-таки не страшной, скорее захватывающей ночи, Виктор Горт сказал:

— За всю минувшую жизнь я сделал две работы, в которых была *душа*. Теперь мне понятно, что подразумевал Эрг. Остальные «цветы» материализовались в более совершенную форму существования, используя плоть и кровь несчастного Тингли Челла... Но невозможно достичь одушевления за счет чужой жизни. Личность — любая! — неповторима. А почему — я не знаю...

Два солнца ударили в наш кораблик. Нам было плохо, потому что умерла Кора Ирви, а нас самих подстерегала неизвестность. Мне было плохо еще и оттого, что погиб Тингли Челл. Он открылся мне, и я знал, какая трудная и нелепая досталась ему судьба... Два солнца ударили в наш кораблик, и послышался

характерный сухой рев. Это космолайнер шел на посадку.

Корабль, уносивший нас домой, назывался «Эфемернда-2»; Петр Вельд сказал, что это к счастью.

— Вы куда теперь... Виктор?

Я впервые назвал Художника по имени, и он ответил прямым взглядом:

— К ней.

Мы долетели хорошо.

ЭПИЛОГ

«...Как мне себя называть? Может быть, Эргом Последним, потому что остальные сгинули к рассвету?.. Кроме Мтварисы, конечно, с которой я никогда не встречусь, ибо не мое дело и не мое право стремиться к ней, и непреложность подобных самозапретов — одна из прекрасных нелепостей, делающих людей людьми... А я не человек. Я — Эрг, во мне живет энергия, не стесненная пределами, нескончаемая — насколько могут быть бесконечны во Времени звезды. Эта энергия всемогуща, она позволяет видеть будущее, и нет здесь тайны, ибо то, чему быть завтра, уже существует сегодня — в иных измерениях Времени-Пространства, и, в сущности, только энергии недостает тому, кто не в силах провидеть, воспринять грядущее... Я бы сумел все и могу быть вечен, но я по-прежнему не знаю, откуда я и зачем.

И все-таки я — Бег Третий тоже, потому и не смог взять жизнь кого-либо из людей ради собственного высшего воплощения. Увы, мне открылось: жизнь — это любовь, битва, горе, счастье; жизнь — это когда улыбке отвечает улыбка, и рука касается руки, и два сердца вместе убыстряют биение и вместе останавливаются... А я всего лишь могу быть вечен, потому что я — Эрг, «черный цветок».

Люди, корабли, искры Жизни, блуждающие во Вселенной! Я здесь, и я одинок. Все, что есть во мне, тя-

нется к вам — люди, или искры Жизни, летящие в пространственно-временной беспредельности... Услышите меня!.. Зачем довелось мне узнать, что такое душа?»

Астропилот Бег Пятый, в нарушение правил Космического устава до середины предстартовой ночи прослушивавший унаследованные от Бега Третьего кристаллы, выключил запись, которую давно знал наизусть. Зато он не подозревал, что в следующую минуту — когда откинулся назад, медленным круговым движением крепко провел ладонью по волосам, лбу, лицу, как бы снимая, отбрасывая прочь все ненужное, способное помешать отдыху души и тела перед утренним деянием, — был непостижимо похож на далекого славного предка. Уже забываясь, легко и радостно отдаваясь короткому глубокому сну, Бег Пятый не то сказал, не то подумал:

— Время — враг или друг? Оно раскрыло тайну Распада, погубившего «Эфемериду», и не только ее... Никто не предполагал тогда, что Распад, несущий смерть, — это результат стихийной деятельности других, однако родственных «черным цветам», семян Жизни; что они, тоже созданные, чтобы существовать, не могли не бороться за это... Жизненная энергия — вот она! Голос Эрга и поныне несется сквозь пространство, а значит, в принципе путь к бессмертию известен, открыт... Но кто променяет свою душу — даже если она подчас мала?.. Время унесло их всех. Сол Рустинг, всю жизнь панически боявшийся самой мысли о неизбежности конца, первым не пожелал Продления — не захотел без Коры Ирви. Петр Вельд, усмехнувшись, заявил: ему нравится знать, что он умрет «космическим мусорщиком». Еще несколько настоящих снимков успел сделать голограф Виктор Горт; Мтвариса ушла следом. Бег Третий отыскал неведомую галактику и не вернулся... Что ж, я поведу свой корабль на рассвете.

1973—1987



БОТИНКИ ДЛЯ КОСМОНАВТА

ГОРОДСКАЯ СКАЗКА

В тот день, тринадцатого мая, сапожник Арт уселся за работу ровно в 7.55, по заведенному распорядку — пяти минут было достаточно, чтобы без спешки закончить последние приготовления и уже не отвлекаться до перерыва.

Нажатие на кнопку — раздвинулись стены мастерской-купола, сделалось просторно, солнечно, весело. Утонула кнопка поменьше, и в ладонь выскочил из подлокотника кресла (копии пилотского) звукокристалл величиной с вишневую косточку, запись четырех фантастических романов и документальной повести о первых полетах на

Меркурий; одновременно сами собой пристроились на место наушники — эlegantные, без проводов, они стоили немало, но мастер любил комфорт, не выносил, когда что-нибудь мешает. Третья кнопка включила авторассказчик. Полилась в уши волнующая, чистая, тихая, словно лунный свет, неземная мелодия... На исходе музыкальной фразы чтец с ходу, без разминки, взялся за дело: «Планета-икс возникла на обзорном экране корабля-разведчика как пробойна от микрометеорита...» Захватывающая пауза — Арт успевает взять в правую руку молоток, левой выдвинуть ящик с прикладом, — и продолжение: «Однако в следующую секунду Командор определил, что это не пробойна, а крупное небесное тело, которого в данном районе Вселенной не могло быть!..»

Сапожник глубоко, прочувствованно вздохнул.

Вопреки упрямой надежде, что когда-нибудь тринадцатого произойдет нечто особенное, ни в этот, ни в какие другие дни, много лет уже, с ним ничего не происходило. И потому во вздохе была печаль. Зато начало романа, недавно пополнившего богатую фонобиблиотеку Арта, обещало полное приключений космическое путешествие; впрочем, так было вчера и позавчера, так будет завтра и послезавтра... Пробыло восемь. Он виртуозно плюнул одним-единственным из полутора десятков зажатых в губах деревянных гвоздочков-шпилек, ловко вогнал его в подошву будущего ботинка. Рабочий день начался.

Не смея войти, заглянула в прозрачный овал двери жена, дородная красивая Роза, с привычным осуждением покачала головой в адрес наушников, убедилась, что кувшин с мацони, кислым молоком, любимым напитком всех сапожников, полон до краев, бесшумно ушла хлопотать по хозяйству. Арт сидел на своем месте — маленький, с большой лохматой головой, почти не тронутой сединою, чуточку профессионально сутулый, целиком ушедший в работу, которую применительно

к нему следовало бы назвать изумительным по красоте и стремительности танцем рук, — и в то же время его здесь не было. Вместе с отважными космонавтами (Арт упорно называл их малораспространенным словом «космолетчики») он сейчас готовился к рискованной высадке на поверхность неисследованной планеты.

Люди нередко обретают профессию, чуждую их устремлениям, — и потом всю жизнь считают главным для себя то, что никак с ней не связано. Покорный семейной традиции, а также в силу различных иных причин он стал сапожником, хотя с детства мечтал *приблизиться* к звездам. Это обстоятельство не мешало ему быть Мастером. Возможно, именно оно сделало Арта выдающимся и необыкновенным сапожником.

Во-первых, он был не робот — явление само по себе неординарное, так как подавляющую массу нужных людям сапог и сапожек, штиблетов и босоножек, уютных шлепанцев, кокетливых туфелек, суровых альпинистских ботинок, легкомысленных сандалий и прочей обуви производили управляемые компьютерами машины; во-вторых, существенно отличался от считанных коллег-людей — они, все без исключения, пользовались услугами современной техники, когда хитроумные манипуляторы заменяют пальцы, а фотоэлементы глаза, и тем самым беззастенчиво профанировали великое древнее ремесло; в-третьих, соглашался шить (он говорил «строить») обувь только для тех, кто имел счастье ему понравиться. Иногда, под нажимом практичной Розы, приходилось изменять правилу; вот и сегодня Арт строил ботинки некоему Начальнику. В подобных случаях он трудился с не меньшим вдохновением, ибо, взявшись за дело, начисто забывал о заказчике, личность последнего, сколько бы ни весила в социальном плане, неизменно тускнела перед таинством рабочего творческого процесса.

Дети в сшитых мастером кедах и башмаках могли с утра до вечера без усталости гонять в футбол, балерины на построенных им пуантах совершали немыслимые

арабески и фуэте, спортсмены в его кроссовках сокрушали рекорды, старики и старухи в изготовленных им домашних туфлях забывали, что такое зябнувшие ноги, служащим его полуботинки помогали вовремя выполнять поручения начальства... По крайней мере так во всеуслышание твердили все, кому посчастливилось заполучить обувь от Арта. Однако не исключено, что они делали это отчасти с целью вызвать к себе зависть, возвыситься над теми, кому не повезло.

Фонокристалл неутомимо рассказывал, пел, таинственно нашептывал, драматически кричал о невероятных, чудесных, мучительно привлекательных похождениях геросов, успевших высадиться на загадочную планету. И — тук-так, так-тук! — с устойчивым вдохновением выполняя свою работу, сапожник, исполненный мужественной решимости, неутолимой жажды познания, непоколебимой верности мечте о звездах, отважно шагал плечом к плечу с косморазведчиками навстречу Неведомому... Изю дня в день на протяжении трех с лишним десятков лет он участвовал в звездных одиссеях, одинаково восторгаясь причудливой игрой мысли подлинных художников («Тоже — Мастер!»), и штампованными поделками литературных халтурщиков, и документами сдержанно-строгих хроник.

С терпеливым достоинством дожидаясь очереди, кристаллы покоились в ячейках фонотеки, занимавшей обширную площадь овальных стен. В давние времена сотоварищи Арта по профессии, чистильщики обуви, всевозможные мелкие ремесленники ради привлечения клиентов и услаждения собственных душ украшали мастерские изображениями кинозвезд, породистых лошадей, силачей-чемпионов и ушедших в небытие вождей, о чьих подлинные деяния обычно ничего не знали. Арт, несомненно, и в ту пору презирал бы подобные уловки, в рекламе не нуждался; да и времена были не те, и город не тот.

Когда-то, стремясь вырваться из тесноты долины,

где суждено было родиться, он судорожно карабкался по склонам сжимавших с двух сторон гор, колбаской пасты из чудовищного тубика выдавливался вверх и вниз по течению реки. А последние полвека перестал дергаться, за немногие десятилетия сумел вернуть себе былой облик — величавый и вместе с тем по-семейному милый, непритязательный, располагающе теплый... Прекратились беспомощные попытки сохранить, в масштабах заповедных уголков, неумело реанимированные черты истинного лица города — потуги, жалкая, претенциозная искусственность которых восхищала невежественных туристов и оскорбляла чувства потомственных горожан. Свершилось редкое волшебство: беспредельные возможности научно-технического прогресса сослужили добрую службу духовности, корнями уходящей в древность. Возродились, опять стали функциональны (разумеется, на новый лад) стены средневековых крепостей, и черепичные крыши домов — ласточкиных гнезд, прилепившихся к скалам над рекой, вновь обретшей свое нравие, и тенистые дворики с платаном посреди, поднявшим широкие ветви на уровень четвертого, последнего этажа... Ну и остальное воскресло — вплоть до медлительной конки, из экзотического аттракциона снова превратившейся в транспортное средство; желающие, торопливые могли по-прежнему пользоваться подземкой и бесшумными такси-геликоптерами, одно другому не мешало... Как, благодаря каким чудесам архитектурной мысли и градостроительной индустрии осуществилось все? Вопрос требует отдельного, обстоятельного разговора. Поэтому одна лишь деталь еще: когда Арт раздвигал внутреннее пространство своего купола, снаружи дом не менялся, его жизнь продолжалась в тех же пределах и пропорциях. Что же касается общей для обозначенных явлений тайны, то она и должна оставаться, до поры, тайной — как и порода дерева, структура заменителей (абсолютно идентичных) кожи, технология выделки остальных материалов, из коих мастер, а ранее

его отец, отец отца и дальше строили свою прекрасную обувь.

«...То, что они приняли за огромный камень, ожило! — рывкнул авторассказчик. — Геолог рефлекторно выхватил ультрабластер... — Не стрелять! — властно бросил Командор. — А вдруг это разумное существо?!»

Молоток угодил по пальцу. Зашипев от боли, сапожник среагировал так стремительно, что и настоящий космонавт мог позавидовать: мгновенно выключил аппарат; надо было оправиться от шока, прежде чем слушать дальше, — проблема контактов особенно занимала Арта. Пососав палец, он коснулся кнопки... Тут дверь распахнулась, и влетела запыхавшаяся Роза. Пронзенная негодующим взглядом супруга, нашла все же силы поспешно сказать:

— Не сердись, пожалуйста! Я бы, конечно, сперва постучала, но к тебе пришел сам... — Она очень боялась мужа. Во всяком случае, не давала повода предположить обратное.

— Этот самый «сам», который пришел, наверняка умеет читать! А если у него глаза не в порядке, напомни: мастер принимает с шестнадцати до восемнадцати ноль-ноль. Разговор исчерпан. Точка!

Тук-так, так-тук...

— Но это не простой заказчик!

Та-ак!!!

— Значит, это твой начальник?.. — Взбешенный собственной гипотезой, Арт аккуратно-грозно отложил молоток. Вспомнил заповедь любимого литературного космолетчика: «Владей собой, как своим кораблем». Титаническим усилием заставил себя вымолвить почти приветливо: — Пожалуйста, передай своему начальнику, что он получит заказ послезавтра. Как договорились.

— Арт!.. — воскликнула жена и наконец почти шепотом сказала то, с чего ей следовало начать: — К тебе пришел сам космолетчик.

Недаром, последовательно борясь с суевериями, Арт

почитал тринадцатое счастливым числом. Пусть с опозданием в тридцать лет — оно сделало свое дело.

Это было общение равных, которое продлилось никак не менее двух часов.

Конечно же, сапожник Арт давно был наслышан о космонавте Гео и знал всю его подноготную. Оба родились в этом городе, замечательном во многих отношениях, но под влиянием до сих пор не выясненных неблагоприятных факторов подарившем человечеству весьма ограниченное число разведчиков Вселенной. Пламенный патриот Арт не мог не поднять больного вопроса.

— Почему? — обиженно спрашивал он, заглядывая детски-простодушными карими глазами в голубые глаза Гео — когда-то, надо полагать, зорко, остро напрягшиеся и навсегда оставшиеся чуточку прищуренными. — Почему, отвечай, так мало наших ребят выбрало твою героическую специальность?! Мы все родились и выросли в горах, они же кругом, повсюду... — В памяти всплыло редкое по красоте образное сравнение из одной повести: «Белоснежные пики, венчающие вершины могучих гор, походили на форштевни космических дрейнуотов, замерших на стартовой площадке», — однако сапожник не решился выговорить замысловатую фразу, горестно махнул рукой: — Горы повсюду — и вот на тебе!

Гео — даром что представлял славное племя покорителей пространства и времени, — неукоснительно соблюдавший рамки традиционной сдержанности, исключавшей суесловие почтительности к старшему, здесь позволил себе пошутить:

— Может, дядюшка Арт, в горах-то и вся загвоздка? Ну как в них космодром оборудуешь — тут равнина бескрайняя требуется...

Мастер вежливо посмеялся, однако от темы увести себя не дал.

— Нет, Гео-джан, дело, к сожалению, серьезнее. Мы, местные, — народ-огонь, люди-метеоры, легки на подъем, отваги нам не занимать... Да быстро сгораем, кропотливый труд не наша стихия. А что в первую очередь требуется от космолетчика? Гигантская трудоспособность! Ему ведь энциклопедистом надо быть, а? — блеснул он ученым словом и упавшим голосом заключил: — Выходит, мы, между нами говоря, просто ленивые крикуны...

— Что ты, дядя Арт! Не тебе, Первому Мастеру, так говорить. Да твои руки чудеса творят!

— Э-э, — лицемерно возразил сапожник, — какие такие «чудеса»? Сижу в своей норе, как барсук, рант тачаю да молотком постукиваю.

— Не прибедайся, уважаемый. Я-то знаю, как мечтают люди к тебе попасть. И, если попадут, хвастаются потом твоими ботинками, словно сами их сшили! — В ясных глазах засветилось лукавство. — А почему тебя, кстати, Артом назвали?

«Хорошо смотрит, — подумал сапожник, — прямо, честно, по-доброму... Наверно, потому, что привык на звезды смотреть!» Он добросовестно объяснил:

— Отец, да будет ему земля пухом, рассказывал, а потом в школе учили, что во втором веке до нашей эры царем Армении Великой был Арташес, что он возглавил восстание против поработителей Селевкидов и... Смеешься, да? — рассердился Арт. — При чем здесь я!

Глядя на него с прежним лукавством, Гео сказал:

— Арташес, само собой, был царь молодец, только ты и впрямь тут ни при чем, совсем-совсем в другом дело. Имя «Арт» происходит от французского слова «артист», а оно — от латинского «арс», что означает «искусство»... — Он еще поглядел на взволнованного мастера и проникновенно заключил: — Даже если я это сию минуту придумал, все равно это правда. Потому

что ты действительно артист и поднял свое ремесло на высоту искусства.

Много комплиментов доводилось выслушивать Арту, в том числе и содержащие только что произнесенные высокие слова. Но никому до сих пор не приходило в голову подобное этимологическое обоснование. Как и остальные 99,99 процента жителей города, мастер обладал чутким чувством юмора и отлично понял шутку. И все же сердце дрогнуло от благодарности, и не в одних словах было дело.

Лишь несколько секунд — зато почти осязаемо! — соприкасались их взгляды, и за ничтожно малый временной отрезок Арт понял то, о чем не умели, не в силах были за долгие годы рассказать тысячи звукокристаллов, каждый микрон которых был до отказа набит историями о космических путешествиях и путешественниках. Поблекли красочные описания фантастических коллизий; смешны и наивны стали дерзкие попытки проникнуть в загадки иных миров, прояснить их неземную сущность; заведомо неправдоподобными, мертворожденными сделались необычайные приключения, подвиги, а главное, сверхчеловеческие качества звездных героев — тех, о которых уже рассказал ему авточтец, и тех, что пока ждали своего часа в ячейках фонобиблиотеки... Славный парень, по сути мальчишка еще (ведь вдвое младше!), стоял перед ним — стоял, поскольку, когда волнение подняло хозяина из кресла, гость тоже вскочил. Светлые волосы, золотистая кожа удлиненного лица, высокий, глаза голубые. «Должно быть, его предки с Запада, — подумал Арт, — с побережья... Ну да разве это важно? Кажется, я понял...»

Стереотелевидение часто показывало космонавтов, и каждый раз, хотя давно пора было привыкнуть, он взбурдуженно говорил жене:

— Ты замечаешь, замечаешь?! Они, как бы это сказать... Они совсем не такие, как все люди! Есть в них что-то такое, такое...

Не находя слов, раздраженно замолкал. Добрая Роза, блестя повлажневшими глазами-черносливами, охотно соглашалась:

— Твоя правда, Артюша-джан, как всегда, твоя правда! Они совсем на простых людей не похожи... Я говорю, они красивые, как наши мальчики, ангелочки прямо.

— При чем «ангелочки», при чем наши мальчики?! Наши небось спокойную работу себе выбрали, агронома-ми станут, — презрительно смаковал постылое слово энтузиаст космонавтики.

Роза привычно с готовностью всхлипывала, и он तोпился ее утешить:

— Я, конечно, ничего не говорю — всякий труд почетный, если нужный. Только понимаешь...

Арт замыкался в себе — сам толком не знал, что так нестерпимо требует выражения.

Сегодня, впервые в жизни лицом к лицу встретившись с космолетчиком, он, казалось, наконец понял.

Космонавтов в мире были тысячи, и все непохожие, потому что — личности. Вместе с тем их объединяло нечто общее, позволяющее о любом, пусть мимолетно возникшем в калейдоскопе лиц, с уверенностью сказать: звездолетчик! Причина была бесконечно таинственна и столь же проста: каждый — даже на Луну еще не слетавший, не говоря уже о Марсе, Венере и запредельных мирах, — хотя бы неделю пробывший в Пространстве, на всю оставшуюся жизнь сохранял в облике отпечаток неземного. Несправедливо было бы упрекать Арта в неспособности выразить это словами — никто не умел, и сами космонавты тоже. А увиденное при встрече с Гео оформилось в сознании мастера следующим образом: «Они — все — смотрят не так, как остальные люди, потому что знают то, чего мы не знаем». Сапожник был чрезвычайно (хотя и несколько односторонне) начитанным человеком, понятия вроде «вечности» естественно существовали в его лексическом фонде. Тем не менее он с трепетом услышал торжест-

венно прозвучавшее в мозгу: «Наверное, они чувствуют Вечность... хоть немного».

Движимый смятением и признательностью, Арт сказал:

— Твое имя красивее моего. Ты — Георгий, а это значит Победитель. У французов Победитель — Виктор, а у нас — Георгий... Тебе чего, Розочка?

Он не сразу заметил, что супруга успела переодеться в шикарное платье, вышитое лунами и звездами. Лебедушкой вплыв в мастерскую, хозяйка пропела:

— Не хотите ли пока еще мацони? Или гость предпочитает кофе?

— Только мацони, — не ломаясь, заявил Гео, — с детства обожаю.

Невольно шевельнувшаяся в душе мастера, натурального Отелло по темпераменту, ревность — «Ишь вырядилась!» — пристыженно стушевалась.

— Неси мацони! — распорядился хозяин; внушительно добавил: — И серьезно подумай об обеде.

— Спасибо, что напомнил! — сверкнула Роза дивными глазами, на минутку забыв, как она боится мужа.

Звезды и луны скрылись за дверью. Мужчины обменялись солидарными улыбками, и Арт, хитро косясь на Гео, осведомился:

— Так что тебе требуется, космолетчик-джан? Надеюсь, не байковые шлепанцы?..

Начальник не получил своего заказа в назначенный срок. Это было первое пятно в безупречной профессиональной биографии сапожника. Он бы и с обоими заказами справился, но, опять же впервые в жизни, почти уже построив ботинки для космонавта, безжалостно выбросил их в мусоропровод и начал все сначала. Розе было велено:

— Скажи этому, чтобы день-два подождал. Мол,

у мастера — клиент поважнее... Так и передай, смотри, слово в слово!

Проявив незаурядную изобретательность, жена вернула ситуацию наизнанку, с выражением искренней печали уведомила должностное лицо о возникших, с одной стороны огорчительных, с другой — весьма для последнего лестных, обстоятельствах:

— Мой Арт уже совсем-совсем построил вашу уважаемую обувь, и вдруг ему не понравилось... Сейчас не покладая рук трудится над новым, простите за выражение, вариантом. Он такой требовательный к себе!

Начальник удалился, исполненный удовлетворения.

— Слово в слово передала? — не оборачиваясь, проверил сапожник.

— А как же иначе? — оскорбилась Роза, не опасавшаяся дальнейшего расследования.

...Как рассказать о работе над ботинками для космонавта? А как рассказать о радостной муке поэта, слагающего песнь Любви и Мечте, о бездумном вдохновении, с которым ласточка строит гнездо, о светлом страдании хирурга, взрезывающего живую плоть ради спасения Жизни, о счастливой боли женщины, готовящейся стать матерью?.. Если кому-либо такие параллели покажутся кощунственными, значит, он не испытывал упоения трудом, сколь бы нехитрым, на поверхностный взгляд, тот ни был. Ибо наряду с человеческими деяниями, включенными в Книгу Бытия, этой высокой чести, без сомнения, заслуживает и двухдневный творческий взлет сапожника Арта.

Он не слушал на этот раз космических историй, а сам, склонясь над рабочим столом — тук-так, так-тук! — без посредничества фантастов, с каждым новым стежком и вбитой шпилькой все более приближался к звездам.

Он не пытался на этот раз воображать себя дерзким, сильным, бесстрашным первопроходцем неизученных миров, не стремился проникнуть в чувства и мысли го-

рячо любимых героев — выдуманных писателями и реальных, не мечтал шагнуть вслед за ними, вместе с ними на песок, камни, зеленые луга чужих далеких планет. Арт понимал, что не его удел даже мысленно приблизиться к такому. Мало того, на протяжении двух колдовских дней (с шести утра до одиннадцати ночи, короткий перерыв на обед) мастер не вспоминал о том космосе, какой представлялся ему прежде.

Гео, его космолетчик, как живой стоял перед Артом: светлые прямые густые волосы, развернутые высоко над плечом плечи, юношески чуть пухлогубый рот — нетерпеливое ожидание повода для улыбки заранее приподняло уголки, — прямо глядящие глаза, которым неожиданную строгость придают зоркая профессиональная острота взгляда, и еще в лице то, неопределимое, общее для них, видевших звезды, не сквозь мутную завесу атмосферной оболочки, а в первозданной яркой лучезарности и чистоте... Мастер работал для Гео, во имя Гео — и неотступно думал о нем.

Уже в начале дня пришло потрясшее все Артово существо открытие: да ведь в этих построенных им ботинках космолетчик, очень возможно, ступит на поверхность какой-нибудь иной планеты! Первым из людей шагнет в неведомое — как те, из кристаллокниг... Он вернулся в действительность, презрительно усмехнулся: что «те», какие такие «те»?! Недоверчиво оглядел заготовку, старый-престарый, острее бритвы, нож, сточенный на две трети, свои руки — и сделал следующий шаг в осмыслении происходящего. Да ведь всему этому, мягкому, податливому, сладостно-остро пахнущему кожей (заменитель в точности имитировал и запах), предстоит вскорости стать обувью, у которой высочайшее предназначение: с ненавязчивой ладностью обнимая ноги космолетчика Гео, надежно, безотказно — уж он, мастер, не подведет! — защищать его от раскаленного песка, острых камней, длинных колючих шипов черт знает каких растений, ядовитых укусов разных мелких

неземных гадов и прочих непредвиденных, непрогнозируемых опасностей... Арт поежился от тревожного предчувствия. Раньше, упиваясь чудесными приключениями неустрашимых межгалактических одиссеев, он, понятное дело, переживал за них, и еще как!.. Реальность будущих ботинок преобразила природу его восприятия. Мучительно отрезвев, Арт понял: не то он представлял, не то... И внезапно — ужаснувшийся, пегодующий на себя, возмущенный собою — явственно увидел внутренним зрением, об обладании которым не подозревал, страшное: Гео, ясноглазый, чистотлицый, добро улыбающийся, по-юношески простодушно в лицо ему смотрящий, *умирает*. Мастер не знал — как, отчего. Он лишь видел: мертвеет овальное лицо, под серым налетом тускнеют, останавливаются, слепнут зрачки, застывает мальчишеская улыбка — и Гео, безжизненный, опрокидывается навзничь... Впоследствии, со временем бледнея, жуткое видение возвращалось еще и еще, вплоть до финала этой необыкновенной истории. Оно почти всегда врывалось в ошеломленное сознание несколько видоизменившимся, но одно повторялось каждый раз — медлительное падение навзничь, и каждый раз Арт видел себя на месте космонавта, и ощущал в сердце холод и пустоту.

Испытав это впервые, он долго не мог вернуться к работе. Однако справился с собой, и больше кошмарные сны наяву были не в силах ему мешать.

Обувшись в обшлюпку, Гео по настоящему сапожника несколько раз прошелся по куполообразной мастерской и даже трижды высоко подпрыгнул, а потом долго усиленно шевелил всеми пальцами. Он приблизился к мастеру вплотную и возмущенно спросил:

- Послушай, дорогой, что это такое?
- Что «это», что «это»? — испуганно засуетился Арт.
- Как что? Где ботинки? Где они, я тебя спрашиваю?

Сильнейшее переутомление, несомненно, пагубно отразилось на сообразительности мастера.

— Да вот же... — ткнул он пальцем.

— Неужели? — Космонавт недоуменно разглядывал ноги. — Почему же я их не чувствую? — И, прежде чем до Арта «дошло», крепко его обнял. — В жизни таких не носил. Поверишь? Летать хочется!

От полноты счастья мастер слова не мог вымолвить. А Гео сказал с чувством:

— Не знаю, как тебя благодарить.

В тот день сапожник Арт обогатился новым знанием. Оказывается, прекрасная необычность космолетчиков, возвышающая их над остальными людьми, состоит, кроме силы, бесстрашия, ловкости, мужества и т. д., еще в одном свойстве — совершенном благородстве ума и души. Ибо Гео понял: предложи он мастеру деньги — оскорбит смертельно.

— Живи, сынок... — только и сказал Арт. И вздохнул.

Позднее, безуспешно пытаясь подвести научный фундамент под беспрецедентное происшествие на планете Скалистая, специалисты дотошно проанализировали, в частности, характер переживаний сапожника, имевших место от момента появления в мастерской Розы («К тебе пришел сам...») до торжественного и трогательного акта вручения космонавту чудесных ботинок. Была установлена такая последовательность смены Артовых эмоций: а) естественное раздражение; б) негодование («Этот самый «сам», который пришел...»); в) недоверчивая радость; г) безграничное счастье при виде настоящего космолетчика; д) разнообразные чувства, испытанные за время общения с Гео и, по-видимому, не связанные напрямую с существом проблемы; е) озабоченность, быстро трансформировавшаяся в пугающее сознание громадной ответственности перед лицом взятой на себя задачи; ж) доминирующее над всем остальным

стремление как можно лучше выполнить почетный заказ... Дальше формулировки становятся расплывчаты, и, надо полагать, это закономерно, потому что о чем таком особенном может думать сапожник, поглощенный привычным трудом?.. Однако следует отдать должное ученым мужам. Они не упустили из виду «космическую направленность» его хобби, отметили между прочим: «...и, учитывая данное обстоятельство, считать логичным стремление исследуемого объекта (не исключено — подсознательное) проявить особый профессионализм в рассматриваемом случае...»

Что касается самого Арта, то, изо всех сил желая удовлетворить любознательность своих мучителей, он страшно нервничал и потому подчас противоречил себе, а иногда и вовсе нес околесицу, о чем красноречиво свидетельствует отрывок фонограммы его опроса:

«— Вы испытывали в процессе работы что-либо, выходящее за рамки вашего будничного психофизиологического состояния?»

— Как не испытывать, профессор-джан! Наушники не надевал, и очень мешал шум на улице. Женщины кричат, дети пищат, конка звенит... Злился очень.

— По-нятно... Напрашивается вывод, что звуковые помехи, раздражающе воздействуя на вашу нервную систему, заставляли вас в этой экстремальной ситуации непривычно мобилизовываться, более сосредоточенно вникать в детали производственного процесса...

— При чем тут «заставляли»? Да если такая ерунда — бабы, крики — может делу повредить, то какой я буду Мастер?!

— Вы же сами сказали...

— Ничего я не сказал! Спросили — ответил, вот и все.

— Простите, но... Разве есть разница между «сказал» и «ответил»?

— Еще какая! Если воспитанного человека о чем-нибудь спрашивают, он должен ответить, хочет или не

хочет. А «сказал» значит сам полез, хотя никто не просил. Я что — выскочка какой-нибудь, чтобы лезть, когда не просят?

— При чем тут?!.. Простите еще раз, однако достаточно ли ясной представляется вам... э-э... связь между вашим последним — безусловно справедливым и оригинальным — высказыванием и существом рассматриваемой проблемы?

— Мое дело сапоги тачать. Проблемы — ваша работа.

— О господи... Может, будет целесообразным вернуться к нашей беседе завтра?

— Это как пожелаете. Не хватает, чтобы я вас учил, как поступать. У нас говорят: «Не учи ученого...»

— Хорошо-хорошо! Итак, если вы не против, встретимся завтра?

— Сапожник Арт гостям всегда душевно рад!»

Неожиданная напевная ритмичность и тем паче рифмованность последней реплики исследуемого несколько развеселили серьезных товарищей ученых — и только. Лишь один из них, жизнерадостный скептик, человек иронического склада ума, подумал: а не морочит ли им голову хитрый ремесленник, не маскирует ли под «непонятливость» упрямое нежелание поделиться чем-то важным, ревниво от всех скрывааемым, возможно заветным?.. Он поделился своей гипотезой с коллегами, но те единогласно отвергли ее как изначально несостоятельную. Кто был прав — не столь уж существенно. Главное и глубоко огорчительное заключалось в том, что ни завтра, ни послезавтра, ни в обозримом будущем попытки объяснить природу невероятного случая особенностями психофизиологического состояния мастера Арта в процессе создания ботинок для космолетчика Гео результатов не дали. «Как и следовало ожидать», — с удовлетворением констатировали заведомо критически настроенные в отношении этой версии. Они принадле-

жали к числу наиболее здраво мыслящих ученых, то есть к большинству; большинство же, как известно, не ошибается.

А на Скалистой — шестой из освоенной землянами за пределами Солнечной системы планет, названной в соответствии с характером рельефа, — произошло следующее.

Космонавт Гео осуществлял рядовое восхождение на не менее рядовой трехтысячник; всего-то надо было снять показания прибора. Скафандра не требовалось (условия точь-в-точь земные), базовый лагерь лежал на высоте два с половиной километра, а пятьсот метров вверх-вниз — пустяк для квалифицированного альпиниста, для Гео же, скалолаза-мастера, подобное, с позволения сказать, «восхождение» все равно, что нам на седьмой этаж подняться, правда, без лифта.

Молодой человек был в превосходном настроении — оттого, что экспедиция открыла еще один ранее неведомый мир, и погода стояла хорошая, и накануне пришла нуль-телеграмма от любимой девушки, и вообще все было замечательно. Сердце билось ровно и сильно, в мышцах жила упругая бодрость, голова слегка кружилась от чистого горного воздуха. Гео играючи метр за метром преодолевал крутизну каменистого склона, во весь голос распевая любимую песню:

Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю!
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою...

Выходило не слишком, может быть, музыкально, зато громко, с выражением, от души. Отвесные стены по обе стороны сужались, и получалось, благодаря резонансу, все лучше. Ноги бывалого альпиниста сами выбирали путь. На них были ботинки, построенные Ар-

том, — необыкновенно прочные, надежно оберегающие от колючих камней и вместе с тем почти невесомые. Таких ему еще не приходилось носить, хотя, понятное дело, у космонавтов не бывает плохих ботинок. Словом, все шло великолепно... И чем лучше становилось, тем ближе была Опасность.

Сегодня уже не выяснить, отчего Гео поскользнулся, да и не в том вопрос. Как и подобает космонавту, впоследствии он полностью винил в этом себя. Но, с другой стороны, не будь на свете случайностей, никогда и нигде не погиб бы ни один альпинист. Они же, к несчастью, погибают — даже самые сильные, ловкие, осмотрительные, опытные.

Он оступился в самом неподходящем месте, в сантиметрах от обрыва, который словно подстерегал за скалой и предательски бросился под ноги. За обрывом была если не бездна, то пропасть достаточно глубокая, чтобы наверняка разбиться насмерть, еще и опознать потом не сумеют... Найдись у Гео секунда на размышление, он бы счел ее подарком судьбы. Однако решали мгновения, и он сделал то, что согласовывалось с его личностной сущностью, в наивысшей степени гармонировало с ней: бросился вперед. Он не принимал решения. Нечто, опередив сознание и волю, выбрало между действием и бездействием, обреченной покорностью и поступком. Ноги лишились опоры — и тут же на долю секунды в последний раз обрели ее, теперь уже вертикальную; сорвавшись, Гео успел достать подошвами стену обрыва и оттолкнулся изо всех сил... нет, еще сильнее! Куда? Это выяснилось на противоположном краю. Прыгая, он не знал, что противоположный край существует, — не разглядел его, просто времени не было.

Все эти «детали», как их позднее назвал Гео, отчетливо обозначились лишь через несколько часов, когда пришлось отчитываться перед товарищами, — он ведь сначала добрался до цели, все-таки выполнил задание. Только тогда до конца оформилась в сознании невероят-

ность случившегося, его полное несоответствие законам физики и природы в целом.

Наутро приборы подтвердили эту невероятность и несоответствие. Кроме того, многократно перепроверенные измерения и расчеты показали: перемахнуть через такую расщелину человек, даже чемпион мира, мог бы разве что в условиях Луны, с ее вчетверо меньшим, чем земное, ускорением силы тяжести. А планета Скалистая и в этом отношении была точной копией Земли.

Собственно, безысходные попытки объяснить благополучный финал эпизода некой аномалией состояния сапожника Арта, предположительно сопутствующей отрезку времени, когда он строил ботинки для космонавта, явились актом отчаяния. Прежде чем решиться на этот шаг — к слову, весьма рискованный с точки зрения любого дорожающего репутацией ученого, — теоретики и экспериментаторы обсосали проблему со всех иных сторон. Отчет об исследованиях занял два десятка голографических кристаллов, и не может быть речи о воспроизведении полной картины поиска. Нижеследующие моменты из многотрудной эпопеи убедительно свидетельствуют, что были проанализированы как мыслимые, так и априори бесперспективные версии.

Например, специалисты, ввиду особой срочности нуль-транспортированные к месту события, рассмотрели совершенно фантастическую, чисто теоретически допустимую вероятность антигравитационного взрыва, который до тысячной доли секунды совпал с прыжком Гео и таким образом «подхватил», «поддержал» его в критический миг... Они получили отрицательный ответ. Структура, состав, свойства твердой оболочки Скалистой, изученные до глубины в семнадцать километров, оказались тождественны земным.

Принципиально отличным был другой путь. Тщательному исследованию подверглись ботинки космонавта.

Приверженцы данной гипотезы единодушно отметили несравненные легкость, гибкость, прочность, пыле-луче-влажностонепроницаемость, а также многочисленные дополнительные признаки исключительно высокого качества изделия. Увы, полученная информация тоже ни на йоту не приблизила к истине. Вместе с тем отрадно подчеркнуть, что обувь была возвращена владельцу невредимой и он смог по-прежнему использовать ее по назначению.

Тайна осталась нераскрытой. Академики по сей день беспомощно разводят руками при упоминании о странном феномене.

Лишь Роза, преданная подруга сапожника, с большим опозданием узнав, в чем состоит «загадка века», крайне удивилась:

— Какая такая загадка?! Просто мой Арт в этот заказ всю душу вложил... При чем тут, извиняюсь за выражение, феномен?

Антинаучность подобного утверждения самоочевидна.

А Гео сумел-таки отблагодарить Мастера, заодно доказав, что в массе выдающихся достоинств космонавтов не последнее место принадлежит пронырливости. Еще тогда, прощаясь с Артом, уходя от него в новых ботинках, он безошибочно угадал в застенчивом вздохе невысказанную заветную мечту.

Гео добился разрешения начальства и однажды захватил сапожника с собою в космическое пространство. Правда, только до Луны и обратно, но Арт все равно был счастлив.



— СЛИШКОМ МНОГО — ВООБРАЖЕНИЯ

История была пришпорена, история понеслась вскачь, звеня золотыми подковами по черепам дураков.

А. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина

Раз в неделю редактор вечерней газеты задерживался после рабочего дня, чтобы, по собственному выражению, «перетряхнуть ящики». Обычно он выбирал субботу, когда работает лишь дежурная бригада сотрудников, ответственных за выпуск номера, большинство комнат пустует, из официальных источников приходит минимум обязательных к оперативному опубликованию материалов, меньше беспокоит или совсем не вспоминает начальство.

Оставшись один в просторном кабинете, он, как всегда, недружелюбно поглядел на тот телефонный аппарат, по которому могли звонить исключительно люди, наделенные правом приказывать, советовать или, по крайней мере, «просить»; мимолетно насладившись сознанием пусть временной, зато почти полной защищенности от требовательного специфического звонка-тявканья и всего, что за ним стояло, с привычным отвращением закурил, ненадолго расслабился в кресле — худой, длинный, печальный... Ему было за шестьдесят, жена давно ушла от него, сын с семьей жил отдельно, и, постоянно на людях, но в сущности одинокий, он с покорным страхом думал о пенсии; работа была единственным, что ощутимо связывало с жизнью, позволяло не сомневаться в своей нужности ей. А в близости черного дня он был уверен: вон их сколько — молодых, цепких, непоколебимо убежденных, что уж они-то сделают настоящую газету!

В памяти враждебным призраком всплыл списочек вероятных преемников.

Редактор молодежной газеты — сорокапятилетний, непозволительно для такой должности состарившийся; некое ответственное лицо, обеспокоенное, по достоверным данным, шаткостью своего нынешнего положения, — для него назначение в «Вечерку» было бы оптимальным вариантом, отступлением с наименьшими потерями, не грозящим особым уроном престижу и, значит, позволяющим надеяться на новый взлет в будущем; наконец, чиновник среднего пошиба... Последний никогда никакого отношения к журналистике не имел, зато обладал неистощимым потенциалом «пробивной» энергии, нужными связями, а также счастливой уверенностью, что справится с любым делом. О таких сказано: пошли его директором совхоза — охотно пойдет, если совхоз крупный; предложи место руководителя НИИ — не задумываясь ответит согласием; и главным хирургом района, при своем незаконченном образовании

учителя истории, посдет ничтоже сумняшеся... И ему, между прочим, предложат, и он согласится, и просидит на должности не один год — известно, как это бывает.

С неудовольствием обнаружив, что мозг, отринув предоставленную возможность отдохнуть от безотрадной действительности, упрямо возвращается в русло невеселых мыслей, редактор смял в пепельнице окурок и приступил наконец к «перетряхиванию».

За неделю накапливалось много дел, требовавших его непосредственного вмешательства. Отделы, естественным образом фильтруя непрерывно поступающий в редакцию бумажный поток, были ограничены в выполнении этой роли, и причина заключалась не в количестве писем, заявлений, рукописей, жалоб, а в характере некоторой их части. Миф о всемогуществе газеты — Геракла, способного расчистить любые Авгиевы конюшни, магией печатного слова освободить действительность от многочисленных и многообразных проявлений несправедливости, неустроенности, нелепости, недомыслия, откровенного зла и безобразия, — прочно укоренился в общественном сознании. Наивный — и за то глубоко симпатичный редактору — читатель присылал почтой или, для верности, приносил письма, в которых взывал к Справедливости широчайшего диапазона калибров. От непонятного ему, читателю, «упорства, с каковым начальник нашего ЖЭУ не желает шестой год уже ликвидировать огромную лужу, образующуюся каждый раз после дождя, в результате чего жильцам, в том числе пенсионного возраста, приходится становиться акробатами, чтобы попасть домой, не вымокнув насквозь...» до простодушного на взгляд и такого по сути колючего — в руки не возьмешь — письмишка-вопроса: «А почему, собственно, у нас называется «выборы», если кандидат всего один? Как, дорогая редакция, объясните, пожалуйста, можно из единственно наличествующего что-либо выбрать?..»

К счастью, обращения подобного рода были редки и всегда анонимны. Пожелай он остаться до конца честным перед собой, пришлось бы проследить и объяснить читателю органическую взаимосвязанность обоих явлений. Вот взять бы однажды да и выдать на первой полосе, вместо передовицы, такую невероятную статью — исповедь свою, гражданский, человеческий манифест, воплощенное в честную хлесткую публицистику жизненное кредо, крик наболевшей души!.. Редактор покосился на твякающий телефон, скомкал в широкой ладони пустую коробку из-под сигарет, распечатал новую. Вспомнив — в обычных магазинах таких не купишь, ощутил нечто вроде изжоги.

Одиноким усталым человеком, летним вечером в субботу засидевшийся в кабинете, отработал в прессе без малого сорок лет, пройдя, что называется, огонь, воду и медные трубы... Нет, привычно внес он саркастическую поправку, начинать следует с труб, и не медных — серебряных, со звонкоголосых фанфар... Да, я прошел множество ступенек — как это? — вверх по лестнице, ведущей вниз. Или наоборот? Из учетчика писем, когда-то, тысячу лет назад, принятого на полставки и невыразимо оттого счастливого, «вырос» в хозяина престижного кресла. Пожалуй, только коллегам-газетчикам, причем, увы, далеко не всем, большинство мне завидует, открыты подлинные вехи и сущность пройденного, понятен итог. Мы начинали с непритворного энтузиазма, с потребности вплести свой голос в каждодневный гимн «светлому и радостному сегодняшнему дню и еще более прекрасному грядущему» ...Прозрев, долгие годы мучительно заставляли себя верить в нужность, общественную полезность того, что пропагандировали в своей писанине. И — пришли к сегодняшней опустошенности... Рассеянно перебирая на столе бумаги, редактор споткнулся взглядом об угловатый почерк. Он прочитал:

«Радий Кварк

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ

Фантастический рассказ

Ведь я отношусь к жизни иначе, чем ты.
Э. Ремарк. Три товарища

Агр Экспансий, командующий авангардным отрядом оккупационных сил планеты Оскаленная, шевельнул усами-вибраторами, и психоприемники подчиненных восприняли сигнал:

— Начало акции «Порабощение» — завтра, в четыре ноль-ноль по местному времени. В этот час человеческое сознание погружено в сон и будет особенно восприимчиво к нашим лучевным излучениям... Впрочем, назначен всего один короткий сеанс психообработки — так, страховки ради, поскольку они уже готовы. Внутренний мир жителей Утилиборга, избранного первым объектом захвата, изучен с исчерпывающей полнотой. Добытые нашими доблестными разведчиками сведения позволили выбрать направление удара. Мы знаем, чего они хотят сильнее всего на свете, — они получают *это*, причем в неограниченном количестве... — Щеголяя знанием местного колорита, присовокупил: — Как сыр в масле кататься будут! — Небрежным движением вибратора отменил восторженное психоужужжание-аплодисменты, внушительно засигналил дальше: — Установлено также, что в сущности своей обитатели планеты Земля повсюду одинаковы. Эрго, успех операции, которую доверено осуществить нам, предопределяет победу в глобальном масштабе... Заранее поздравляю вас, подчиненные: могучая Оскаленная, чье великое предназначение — мировое господство, всевластие над Вселенной, в обозримом будущем приобщит к своим многочисленным владениям еще один обитаемый мир, пусть слабо развитый, однако в известной мере все же цивилизованный! — Непонятно

для подчиненных, которые — все до единого — были слепыми, не способными к образному и вообще самостоятельному мышлению исполнителями, с уничтожающей иронией добавил: — Они полагают, что неудержимо шагают дорогой социального прогресса и процветания... Бег на месте — вот их образ жизни! А по неподвижным мишеням трудно промахнуться... Все. Отдыхать!

И передовой отряд оскалианских штурмовиков в полном составе выпал из пространственно-временных параметров Земли, чтобы через несколько часов со свежими силами приступить к боевым действиям... Хотя какой там «отряд» — всего-то несколько, раз, два и обчелся, насекомоподобных чудищ. Большого не требовалось. Оскаленная владела абсолютным оружием. В сравнении с ним ядерная ракета была все равно, что детская рогатка перед дальнобойным оружием.

Ни о чем не подозревающие жители Утилиборга уже смотрели свои первые сны...»

С профессиональной быстротой проглотив начало рассказа, редактор откинулся в кресле, по-мальчишески весело рассмеялся. Неожиданно ему поправилось то, что нафантазировал неведомый Радий Кварк, — и не одно это.

Эрих Мария Ремарк, тепло думал он, литературный кумир нашего поколения, чья молодость совпала с пятидесятыми... Один из первых прорвавшихся к нам из наглухо занавешенной потусторонности их мира, нормальный интерес к которому расценивался как отступление от Идеалов, измена Принципам, гнусное предательство. Возможно, мы преувеличивали художественные достоинства его романов. Наверное, так, иначе не могло быть, ведь после всех этих поддельных ценностей — апробированных, высокими премиями отмеченных литературных суррогатов, санкционированных этических и эстетических истин — элементарно честный рассказ о людях, их естественных отношениях, о боли,

счастье, усталости, жизни, смерти и любви был для нас откровением... Он вспомнил, каких долгих и трудных усилий, какого страдания стоило ему самому освобождение от искаженных оценок прекрасных произведений, созданных не западными писателями, не отечественными «безродными космополитами», а классиками нашей родной, во всем мире признанной литературы. И, вспомнив, с горечью подумал: практически на это духовное раскрепощение ушла вся самостоятельная, взрослая жизнь, и все-таки до конца вытравить из себя интеллектуальное рабство не удалось. Как же глубоко внедрили предубеждения! Пожалуй, здесь выражение «проникли в кровь и плоть» перестает звучать метафорически. Именно так, ибо окаменелые идеологические, философские конструкции покрывались столь искусным, а главное, прочным, лаковым палетом революционности, «единственно возможной в этом мире истинности», что из идей превращались в своего рода ферменты, регулирующие, направляющие всю нашу жизнедеятельность. Моему поколению, вероятно, уже не освободиться — с годами организм теряет способность к обновлению...

В третий или четвертый раз за полчаса закуривая, нервно щелкнул изящной японской зажигалкой, хотел вспомнить, кем подарена дорогая безделушка, не смог, брезгливо сформулировал: «Еще один атрибут неординарного положения в обществе, пустяковое, но вещественное свидетельство социальной несправедливости; рядовым гражданам таких подарков не делают, во всяком случае, люди, которых потом сразу и не вспомнишь...» Нелицеприятно спросил себя: не оттого ли, в частности, пугает мысль о пенсии? Не в зажигалке, конечно, дело, да ведь она — символ... Подсознательно ударяясь в бегство от унижительных мыслей, придвинул рукопись, уже без мрачности, снисходительно подумал: «Радий Кварк — не больше и не меньше! Каково, а? Совсем, надо полагать, мальчишка. Псевдоним настолько пре-

тенциозен, что трогательно даже». Живо представилось: раннее утро, автор ставит последнюю точку, обводит комнату затуманенным взором, лишь теперь замечает пенужность света настольной лампы... Он, несомненно, пишет по ночам, в таком возрасте литератору лестно называть себя «совой». Придирчиво перечитывает рукопись и, какой бы она ни была на самом деле, говорит себе с приличествующей автору скромностью: «А что? Не так уж скверно... По крайней мере — необычно». С трудом дождавшись начала дня, спускается по лестнице. Непременно пешком, заставляя себя — вопреки нетерпению и одновременно свойственной юности лени — пренебречь лифтом. Потому что, как ни тянул, вышел все-таки слишком рано; и редакция еще не работает, и почта — коль скоро, из застенчивости, решил послать рукопись письмом — закрыта.

Хмурое редакторское лицо смягчилось. Господи, сколько авторов перевидал он на своем веку! В отличие от «братьев меньших» человек не умеет удовлетворяться отпущенными природой средствами самовыражения. Он одержим потребностью высказать свое способам, которые создали эволюция плюс технический прогресс... Редактору приходилось иметь дело и с графоманами, и с подлинными талантами, к сожалению, как известно, не умеющими обычно за себя постоять, и с агрессивными бездарностями. В конечном счете — если отбросить особо тяжелые случаи — он даже к представителям последней категории относился сочувственно, хотя называл их неприязненно «танками». Рассуждал так: разумеется, и среди пишущих встречаются разные штучки (не говоря уже об анонимщиках-клеветниках и прочих мерзавцах) — например, карьеристы, самодовольные наглецы, — и тем не менее есть в них нечто трогательное, ибо самый малоэффективный, терпистый путь к успеху выбрали... Ладно, добродушно сказал он Радио Кварку, будем надеяться, тебе повезет больше других. Вложив в ладони усталое нервное

лицо, принялся читать дальше. Рассказ был слишком велик — тоже свидетельство неопытности автора; если печатать его в первозданном виде и объеме, то всех четырех газетных полос не хватит. Вряд ли, впрочем, могла зайти речь об опубликовании «Троянского коня». Не потому, что рукопись нуждалась в серьезной доработке, была «сырой» — это дело поправимое, — в силу иных причин, весомых, трудно устранимых препятствий... Однако возникшая поначалу законная досада на заведующего отделом литературы и искусства, почему-то не решившего судьбу рассказа самолично, скоро исчезла. На первых порах посмеиваясь, все больше увлекаясь, он прочитал все. По обыкновению газетчиков-профессионалов, покончив с очередной страницей, редактор, не переворачивая, подкладывал ее под остальные, и, когда чтение было завершено, страницы расположились в исходном порядке, словно предлагая начать с начала.

Он так и поступил, только прежде поднялся, смешно воздел вверх и в стороны длинные худые руки, изо всех сил, от души потянулся, шагнул к высокому под низким потолком окну, толкнул; крутнувшись на оси, окно распахнулось. Издательский корпус стоял в возвышенной части города, к тому же одиннадцатый этаж, — и на табачный угар набросился почти свежий здесь, вверх, воздух зарождающейся ночи. Легче стало дышать, и на сердце полегчало; а еще раньше на настроение ухитрился с необъяснимой благотворностью повлиять Радий Кварк. Озадаченно отметив и признав неоспоримость последнего факта, редактор охватил взглядом законную панораму.

Большой, особенно за последние полтора-два десятилетия разросшийся город исподволь, как человек, высвобождался из тисков напряженного ритма недели и лишь на исходе первого выходного дня научился отдыхать. Сейчас он умиротворенно нежился под освежающим душем из легкомысленных вечерних огней, обрыв-

ков льющихся из окон мелодий, расслабленно-неторопливого, тем самым контрастирующего с первоздным дневным, шелеста автомобильных шин, из смутного, приглушенного шепота дождя, каплями в котором были людские голоса. Смазанное на горизонте электрическое зарево кощунственно обесцвечивало живой блеск звезд — нонсенс, неприятный парадокс, иллюстрация жалкой искаженности нашего мировосприятия... Прислушавшись к грустному умозаключению, редактор взглянул на звезды пристальнее, внимательнее, даже запрокинул голову, — и, освобожденные от подавляющего эффекта искусственных световых помех, они ожили, сделались крупнее, заблестали ярко, чисто, свежо... «А ведь черт знает, что там на самом деле!» — с давно не напоминавшей о себе юношеской горячностью мысленно воскликнул он. Вернулся к столу и начал читать рассказ с начала. Вот что в нем было.

Город Утилиборг не случайно носил свое серое, как груда старого тряпья, имя. Его обитателей не интересовало ничто, кроме наживы, стремления разбогатеть, желания иметь побольше *вещей* — в широком смысле этого самого дорогого их сердцу слова; а те, что уже были богаты, старались заполучить еще больше. Все окружающее они воспринимали с одной точки зрения: нельзя ли тут чем-либо поживиться?.. Латинское «*utilitas*» переводится как «польза», «выгода».

Утилиборжцы беззастенчиво обманывали приезжих, имевших глупость их посетить, а когда сами бывали в гостях, то ловко обирали доверчивых гостеприимных хозяев; подсовывали заведомую дрянь, отправляя товары почтой, и норовили всучить фальшивые деньги за хорошие, добротные вещи, которые присылались в город по их заявкам. Если в силу каких-нибудь обстоятельств временно было невозможно обмануть чужого, они обманывали друг друга. Но главный их порок состоял все-

таким не в патологической склонности к воровству, обману, вообще жульничеству, а в самой неутолимой жажде накопительства. Во-первых, она по природе своей низменна и потому может толкнуть человека на любую низость; во-вторых, будучи доминирующей потребностью, смыслом существования, делает его абсолютно невосприимчивым к цепностям духовным.

Чего стоила первойшая заповедь утилиборжцев (наверное, правомерно сказать и попросту — утилитаристов): «Сколько бы ни имел, стремись иметь больше!» Когда у многотысячного населения целого города такое — одно на всех — жизненное кредо, люди неизбежно обречены на тотальное удручающее безличие. Так и было. Даже имена граждан Утилиборга отражали признаки всего двух видов: чисто внешние (Толстый, Косой, Волосатый, Коротконогий, Бородавчатый и т. д.) или же указывающие на род деятельности, так сказать, профессию — Спекулянт, Шулер, Специалист-по-тяжбам, Взяточник, Мастер-мелких-афер... Характерная деталь: имени предшествовало словечко «Ути», обратиться к горожанину без данной приставки значило оскорбить его, и это лишний раз показывает, что накопители не только не стыдились своей позорной сущности, а, напротив, гордились ею...

Невольно увлекшийся редактор прочитал дальше вслух: «...И хватит с меня, противно описывать это мерзопакостное сборище субъектов, пораженных вирусом стяжательства, безнадежно больных вещизмом, озабоченных стремлением к сиюминутной пользе и потому не способных заглянуть дальше собственного носа! Читателю, которому подобная игра воображения может доставить удовольствие, предоставляется право самому обогатить отвратительную картину дополнительными штрихами. Возможности здесь поистине неограниченные: накопительство есть крайняя степень проявле-

ния бездуховности, идеальная форма ее выражения, так как чревата самыми уродливыми и далеко ведущими последствиями. Неудивительно, что именно природу, натуру обитателей Утилиборга имел в виду Агр Экспансий, выражая уверенность в успехе акции «Порабощение». Гераклит Эфесский, древний философ-диалектик, произнес вещи слова: «Не лучше было бы людям, если бы исполнялось все, чего они желают». Он, правда, мягко выразился. Существует грань, за которой доступность желаемого становится губительной...»

Великодушно простив Радию излишнюю публицистичность и некоторые погрешности стиля, редактор солидарно подумал: «А что? Все правильно! Мы в нашем голодном детстве липучей карамельке радовались, сегодняшний же двенадцатилетний потребитель получает от мамы ко дню рождения сверкающий «Шарп», купленный на чеки... Адекватно ли качество звучания первоклассного магнитофона уровню внушаемых при этом гражданских — да что там! — просто человеческих качеств?.. Я не апологет аскетизма, однако это не считаю нормальным — вот так!» В памяти воскрес злой вопрос встреченного через много лет одноклассника: «Почему я должен покупать баклажаны на рынке за два рубля кило, а ты в своем спецмагазине — за двадцать копеек?» Пришлось отшучиваться в том смысле, что к баклажанам у него идиосинкразия, но чувство вины и стыда кольнуло тогда и, оказывается, осталось, раз вот теперь вспомнил... Между тем он почти не пользовался тем магазином; возможно, вследствие неприязнательности, привычки довольствоваться необходимым, да и много ли надо одинокому пожилому человеку... А вот сын и особенно невестка частенько ненавязчиво намекали: хорошо бы что-нибудь взять для малыша — и приходилось брать. Он пообещал мстительно: как уйду на пенсию... Внутренне встряхнувшись, вернулся к «Троянскому коню» и дальше перечитывал его с карандашом в руке — вычеркивал, правил, пере-

ставлял абзацы, не отдавая себе отчета в этом, а когда заметил, то с недоумением уставился на подчинившуюся профессиональной привычке руку. Зачем?.. Нет, конечно, рассказ не для печати — во всяком случае, для его газеты он явно не годится.

...Никто из жителей Утилиборга не заметил, когда это началось. Ни к чему было задаваться праздными вопросами. Вопросы требуют ответов, если надобно выяснить, почему плохо, — и устранить причину. У них же все шло хорошо, лучше не бывает. Нежданно-негаданно город попал в полосу сплошных удач, невиданного расцвета, беспрецедентного благополучия, обогащался со сказочной быстротой и легкостью.

На первых порах резко возросло количество выгодных сделок, успешно проворачиваемых афер, крупных и мелких обманов, головокружительных шулерских выигрышей — любых операций, направленных на приобретение и накопление.

Спустя короткое время процесс вступил в качественно новую стадию. Если б утилиборжцев могло заинтересовать что-либо, не имеющее непосредственного отношения к стяжательству, они бы обратили внимание на некую странность: не стало пострадавших, лишившихся благ в результате перехода последних в собственность другого. Какой-нибудь неудачник, скажем, проигравшийся в карты вчера, сегодня срывал втрое больший куш; мизерный остаток акций, разоривших биржевика, незамедлительно приносил ему прибыли, о которых и не мечталось; пойманный за руку взяточник (время от времени власти приличия ради решались на такой шаг) на полпути к месту заключения необъяснимо и внезапно получал столь внушительное новое подношение, что хватало и от тюрьмы откупиться и пополнить вклад в банке... (В этом месте темпераментный Радий Кварк опять не выдержал, призвал читателя — «коль

скоро подобные упражнения могут доставить ему радость» — самостоятельно домысливать аналогичные примеры, и редактор, улыбнувшись максимализму молодого человека, аккуратно вычеркнул язвительный абзац.)

Наконец настал черед третьей стадии: для Утилиборга начался золотой век. Увы, он не был отмечен расцветом наук и искусств, а его обитатели ни в малейшей мере не приблизились к богоподобию. Но заботы, огорчения, беды, невзгоды и впрямь ушли в небытие. Незачем стало хитрить, ловчить, лгать, воровать, чего-либо добиваться, что-то преодолевать — все само шло в руки. Достаточно было помечтать перед сном о настенном телевизоре с дистанционным управлением, стереофоническом радиокомбайне, автомашине новейшей модели, в том числе иномарки, бесплатной или льготной путевке на популярный курорт, круизный лайнер, о кетовой икре, крабах, связке воблы, твердокопченной колбасе, модном платье, загородном коттедже, благосклонности кинозвезды, доходном месте (далее следовало полюбившееся автору сардоническое обращение к читателю) — и наутро, самое позднее через денек-другой, утилиборжец получал вожаемое благо.

Поразительно, неправдоподобно звучит, однако и сейчас никто по-прежнему не задумывался над происхождением феномена. Брали, пользовались, имели, набирали впрок, про запас, на черный день, на всякий случай и, жадничая все сильнее, оголтело хватали, хватали, хватали... Не замечали, упоенные сладостным процессом вдохновенного, почти творческого приобретательства, на первых порах небольших, но все более разительных перемен и превращений.

К примеру, население города ощутимо прибавило в среднем весе; отдельные же особи достигли в этом отношении выдающихся результатов. Ути-Толстому, чтобы сохранить индивидуальность, пришлось переменить фамилию на Ути-Жирный. Очень скоро этого шага ока-

залось недостаточно — разжирили все, — и после ряда бесплодных дополнительных попыток спасти положение ему пришлось смириться с потерей лица. Плачевная участь постигла и Ути-Косого, чьи глаза, как и глаза всех сограждан, заплыв жиром, превратились в одинаково еле различимые щелки... И так далее.

По-настоящему же грозной, без преувеличения — фатальной, была метаморфоза иного рода. Избавленное от необходимости прилагать даже минимум усилий для удовлетворения постоянно растущих потребностей, общество утилитаристов начисто утратило былую напористость, житейскую хватку, цепкость, практичность, расчетливость, трезвую предусмотрительность и осторожное благоразумие — то есть именно те незаменимые преимущества, которые обеспечивали его жизнеспособность и прогресс.

Надо ли объяснять, что собой представляло абсолютное оружие планеты Оскаленная?.. Агр Экспансий то и дело с величайшим удовлетворением шевелил усами-вибраторами, сладостно потирал их один о другой и попутно подключал все новые батареи так называемых «дубликаторов» — устройств, создающих из эфирного вещества вселенной любые блага, в овладении которыми утилиборжцы видели цель и смысл жизни. Надежно замаскированное в ином пространственно-временном измерении, абсолютное оружие оскалианцев безотказно выполняло свое страшное назначение... А в принципе, если задуматься, ничего нового. Деморализация всегда была решающим фактором поражения противника. Разве что применительно к данному конкретному случаю старый термин обретал жутко-ироничный оттенок. Понятия «накопительство» и «мораль» изначально несовместимы. Отсюда следует — космическим захватчикам можно было и не стараться особенно, рано или поздно утилитаристы неизбежно сами бы захлебнулись в болоте ненасытной жадности. Да только ведь и агрессор, как воплощение вполне определенного нравственно-

го, вернее безнравственного, начала, недалеко ушел от стяжателя; он обязательно спешит, опасаясь конкуренции со стороны другого агрессора... Итак, пора перейти к тому, что обусловило крах честолюбивых замыслов Агра Экспансия и стоявшей за его чешуйчато-панцирной спиной инопланетной империи.

Жил в городе Утилиборге человек, выделявшийся в массе его обитателей подобно белой вороне, попавшей в стаю черных сородичей, и если его давным-давно не заклевали, то единственно по причине занятости несравненно более важными делами, а какими — уже известно. Вряд ли кто-нибудь возьмется объяснить, почему он таким уродился, — и не в том главное.

Деловитые соотечественники называли его по-разному: Ути-Дурак, Ути-Бездельник, Ути-не-в-своем-уме, Ути-Блаженный, Ути-Никудышный и т. п. Все определения, с позиции утилиборжцев, были одинаково справедливы. И все равно ошибочны в одном — никакой он был не «Ути», потому что плевал с высокого дерева на богатство и его атрибуты. Все свое носил с собой, причем особой заслуги в том не было, личное достояние Дурака — остановимся на данном прозвище — ограничивалось одеждой, сменой белья, парой крепких рук, веселым сердцем и ясной головой. Ночевал где придется, ел что заработает. Над ним смеялись — беззлобно, поскольку не становился поперек дороги; его не обижали, так как использовали на каждом шагу: там поднять что-либо тяжелое и грязное, поднести, унести, прибрать, сбегать... И на этом-то Дураке споткнулась искушенная в завоевательных межпланетных экспедициях Оскаленная, о него расшибла бронированный лоб, впустую, не сумев разгрызть, лязгнула острыми клыками!

Получалось, с самого начала его проморгав, оккупанты зря израсходовали несметное количество энергии (пока неизвестного на Земле вида), понапрасну воплотили чудовищную массу межзвездного вещества в столь

дорогие сердцу нормального утилитариста материальные блага. Когда Агр Экспансий узнал о существовании Дурака, то пришел в неистовство. Внешне типичный солдафон — грубая, крепче железа, чешуя по всему телу, атавистический теменной глаз, исключаяющий внезапное нападение с тыла, вибраторы в полтора раза длиннее, чем у штатских, для внушительности психоконанд, — он был далеко не глуп. Агр мгновенно сообразил: проклятый Дурак способен поломать ему всю стратегию вместе с тактикой. Потому как не примитивный геноцид планировался — порабощение психики, всего внутреннего мира жителей Утилиборга (а за ними и человечества в целом); в таком тонком деле мелочей нет, один-единственный неподдавшийся, сохранивший независимость мыслей и чувств испортит, рано или поздно, всю музыку.

Врожденное упрямство не позволило Экспансию признать поражение, самолюбие было задето, и еще он представил, как пагубно отразится провал акции на блестящей до того карьере колонизатора иных миров, и, представив, ужаснулся и разъярился. Вместе с тем следует воздать Агру должное: личные амбиции были для него не самым главным; он надеялся, что, справившись с «белой вороной» из Утилиборга, найдет таким образом надежное, а то и универсальное средство, противоядие от духовных собратьев Дурака, разбросанных, очень может быть, по разным странам и континентам этой планеты. И он твердо решил идти до конца.

Агенты Экспансия буквально взяли окаянного бессребреника в кольцо, обложили его со всех сторон; действовали они, понятно, в обличье типичных утилиборжцев — при их технических возможностях подобная трансформация проблемы не составляла. Был применен широчайший ассортимент соблазнов — от простейших до мефистофельски изощренных... Ничто не могло прорвать Дурака.

Получив — за то, что перенес через широкую, в озе-

ро, лужу шестипудового псевдоутилиборжца, — вместо обычных двух мелких монеток целых семь, он равнодушно сунул их в карман. На прошупывающий вопрос — как именно намеревается истратить по-царски щедрые чаевые? — не задумываясь ответил:

— Мороженого куплю... Или на карусели с подружкой прокачусь.

— А не лучше ли отложить деньги на черный день? — закинул пробный камень искустель, пропустив мимо ушей упоминание о подружке.

— Зачем? — задал Дурак встречный вопрос. Потом, явно впервые оказавшись перед лицом заманчивой перспективы, просветленно сказал: — И то правда. Отложу-ка я их на завтра и денек отдохну от работы!

В первую секунду агент растерялся, разнервничался, но затем — успел за время необъявленной войны усвоить кое-какие утилитаристские приемчики — с демагогической укоризной заметил:

— Как то есть отдохнешь? Труд облагораживает человека!

Не проронив ни слова, Дурак выразительно поглядел сначала на его жирный зад, потом на лужу, через которую переправил.

Бесславно провалились все последующие, непрестанно усложнявшиеся попытки разрушить крепость дурацкого равнодушия к вещам и прочим благам, добраться до его здравомыслия, житейской мудрости, естественного для хомо сапиенс желания иметь и, имея, приобретать. Должны же они, пусть в зачаточном состоянии, гнездиться в человеческой душе!.. «А уж если хоть малая искра стяжательства, завистливой жадности в ней тлеет, — рассуждал, анализируя безрадостные отчеты своих агентов, не терявший надежды Агр, — то раздуть ее во всепожирающий костер ненасытной алчности — вопрос времени, дело техники...» Ничего не получалось.

Дураку предлагали стодвадцатисильные лимузины — он отвечал, что больше любит ходить пешком, гиподинамии боится; навязывали солидную недвижимую собственность, двухэтажный особняк в престижном районе Утилиборга, — заявлял, что на свежем воздухе лучше спится; сулили головокружительно быструю служебную карьеру — хохотал во все горло: карьеристы, мол, все рабы, как бы высоко ни поднялся — пад тобой начальник остается... Стоит ли продолжать перечислений? Пусть каждый вспомнит, что хотел бы он сам получить, чего достигнуть в жизни, и ему станет ясно — соблазнов в арсенале оскалианцев хватало. Стало быть, Дурак он дурак и есть, раз от всего отказался.

Кончилось это — и вся тщательно продуманная насекомообразными чудищами колонизация нашей родной голубой планеты тоже — неожиданно, а для одного агента и вовсе плачевно. Проницательно учитывая молодость Дурака, атлетическое сложение, цветущий в целом вид, а также, по достоверным данным из обширного составленного на него досье, холостое состояние, этот бедолага-пришелец с плотоядной улыбкой предложил ему целый гарем девиц разной национальной и расовой принадлежности, этаким роскошным букет, даже цветник, — пальчики оближешь, выбирай по вкусу и по настроению!

Дурак пожал могучими плечами: к чему мне гарем, если есть уже невеста. Далее выяснилось, что живет-поживает в Утилиборге некая девушка, такая же дура, поскольку не пожелала выйти замуж за богатого миллионера, и очень скоро они с Дураком намереваются пожениться... В отчаянии от этого информационного сюрприза — выходило, даже здесь, в логове, гнезде, мировой столице утилитаристов, дураков видимо-невидимо, во всяком случае — больше одного, и, значит, они будут размножаться, а где гарантия, что их уже не сотни и тысячи?! — в отчаянии агент совершил вопиющую глупость. Он принялся всю чернить и охаи-

вать будущую супругу Дурака, даром что в глаза ее не видел, попутно превознося и преувеличивая достоинства своих гаремных наложниц. Увлеченный выполнением боевого задания, он не замечал, как «объект обработки» меняется в лице, сжимает тяжелые кулаки, а из его широких ноздрей исходит все более грозное сопение... Да, наконец терпение Дурака иссякло. Не в силах больше выносить хулу в адрес избранницы, он, что называется, от души врезал незадачливому инопланетянину в ухо. Конечно же, ему и не снились последствия своей невыдержанности. Не издав ни звука, пришелец шлепнулся на пол и тут же превратился в заурядного черного таракана — чуточку почернее и покрупнее тех обыкновенных, что изобильно водились в Утилиборге, битком набитом всякой дрянью, барахлом, которое жалко было выбрасывать, а потому хорошо приспособленным для тараканьих поселений.

Дело происходило в баре «Слава имущим». Его владелец Ути-Недоливающий к тому времени достиг вершины счастья, так как исполнилась наконец его заветная мечта: пиво чудесным образом пенилось столь бурно, что из каждой кружки получалось пять, а иногда и целых шесть. Недоливающий процветал, однако в баре было ужасно грязно, неустроенно (зачем тратить на ремонт, если публика и без того валом валит?), в полу множество глубоких трещин и щелей; в одной из них, благополучно избежав чьего-то ленивого каблука, и скрылся злосчастный инопланетянин... Оскалианцы достигли вершин научно-технического прогресса, умели, с нашей точки зрения, в буквальном смысле чудеса творить — и перед наивным простосердечием, цельностью чувств, бескорыстием оказались не сильнее, не страшнее жалкого таракана.

Троянский конь пришельцев из дальнего космоса не выполнил своей исторической миссии. Агр Экспансий приказал снять осаду, а сам, не вынеся поражения, покончил с собой. Он сделал это мужественно, в согласии

с кодексом офицерской чести, — принял лошадиную дозу боевого отравляющего вещества. Оно входило в арсенал осканланских вооруженных сил, но обычно использовалось против инакомыслящих соплеменников.

На этот раз Земля была спасена...

Во второй раз подложив последнюю страницу под рукопись и, таким образом, в третий раз увидев начало рассказа, редактор раздраженно взъерошил левой рукой не по годам густую седину, а правой бесцельно выдвинул и резко задвинул ящик стола... Фломастером начертил резолюцию на имя заведомо: «Прошу обстоятельно изложить автору причины, по которым мы не сможем опубликовать рассказ». Подчеркнул слово «обстоятельно». Рассердившись на себя, облегчил душу грозной припиской: «Впредь прошу решать подобные вопросы самостоятельно!» Подчеркнул и «самостоятельно». Швырнул фломастер на стол, откинулся в кресле, побарабанил сухими пальцами по подлокотникам, рывком встал, подошел к открытому окну.

Город притих. Половина его сотен тысяч, а может миллионов, электрических глаз устало закрылись. Лишь теперь редактор сообразил, что весь вечер ухлопал на этот... Да как его, собственно, назвать-то?.. А вот как: *опус*! Станный, бредовый, *вывернутый*, ни в какие жапровые рамки не укладывающийся опус... (Когда-то он самовластно наделил этот невинный термин ругательным оттенком и обращался к нему, чтобы выразить отрицательное отношение к любому не понравившемуся материалу.) Чепуха какая — целый вечер, когда скопилось столько по-настоящему серьезных неотложных дел, вопросов, требующих оперативного решения!.. Привычные казенные формулировки звучали как призыв вернуться в реальность, обращение к чувству ответственности, напоминание о служебном долге.

В одном из ближайших номеров обязательно должна

быть передовица, посвященная актуальным проблемам, которая... Редактор неприязненно подумал о распространенном заблуждении: передовая статья — это всегда набор общих мест, громких фраз, апробированных истин — источник гонорара для должностных работников редакции. Конечно, часто так и есть. Увы, не всегда. В частности, эта, вспомнившаяся с тревогой и тоскливым чувством, сулит ему сплошь одни неприятные эмоции и потребует огромных затрат душевной энергии, тягостной борьбы с собой. Говорят, согласно мировой статистике, смертность среди журналистов занимает второе место — после кого? Неважно. Интересно, однако, не потому ли она так высрка, что журналистику называют еще «второй древнейшей профессией»?.. В данный момент, например, перед ним задача в трех-стах строках отразить три момента: одобрение (полное, горячее, единодушное) Слов, прозвучавших с Самой Высокой трибуны; исходя из них, признать (честно, самокритично, открыто, положив руку на сердце) наличие в жизни еще не искорененных недостатков; показать, какую энергичную (принципиальную, последовательную, бескомпромиссную) борьбу ведут с ними, этими недостатками (ошибками, недоработками, упущениями) местные органы и организации... Он горько, с заведомым отвращением к себе — пишущему все это — усмехнулся. Самое подлое — момент четвертый. В итоге (следовательно, главным образом) статья призвана непременно свидетельствовать: органы, чьим органом — никакой тавтологии! — является руководимая им газета, а еще точнее — возглавляющие их товарищи, работают хорошо, даже прекрасно, и, значит, по праву занимают свои места, и нет, не может быть им равноценной замены... Тут редактор всю разозлился на Радия Кварка. Как-ков, а? Взял да и написал прямо, что и как думает, мальчишка! (Предположение оказалось верным, автор сообщал в «коротко о себе»: студент второго курса местного пединститута, пишет со школьной скамьи, ни ра-

зу еще не публиковался, надеется, что уважасмый редактор...) Черт бы его побрал!

И только теперь, в который раз мучительно пережив растянувшийся на десятилетия конфликт между образом мыслей и образом действий, редактор полностью осмыслил происшедшее в этот вечер. В патренированной цепкой зрительной памяти веером взметнулись тридцать с лишним страниц «Троянского коня пришельцев», он увидел их и понял, что уже подготовил рассказ к печати. Машинально, если здесь уместно это, в сущности, слепое определение, исчеркал его, сократил, выправил, придал ему композиционную стройность и благородный стремительный лаконизм... Хоть прямо в набор посылай!

Он серьезно спросил себя: почему я это сделал? И честно ответил: потому что в гротескной мерзопакостности Утилиборга и его обитателей увидел то отвратительное, всю жизнь яростно и бессильно ненавидимое, что вижу на каждом шагу вокруг себя. Если Джонатан Свифт в чопорной Англии семнадцатого столетия не смог устоять перед соблазном изобличить в людях йеху и с восхищением увидеть в лошадях совершенство, духовность гуингмов, то почему бы бесспорно честному, талантливому пареньку из моего города не пойти таким же путем? И, уместив в рамки лестного для Радия Кварка сопоставления сложную гамму мыслей и чувств, разбуженных его рассказом, успокоенно-резко бросил в лицо своре злопыхателей критиков: «Вот вам вся моя рецензия! И заодно, если любопытствуете, — жизненное кредо».

А второй ответ на заданный себе вопрос он нашел в черно-синей бесконечности за распахнутым во всю ширь окном. В ней — чем дальше вверх, тем загадочнее, — мерцали звезды, и при достаточной наивности души, а возможно, способности не страшиться Неведомого легко было услышать извечный радостно-пугающий вопрос: а в самом деле — что там?

Редактор подмигнул так и не таявшему за весь долгий вечер телефонному аппарату и пошел домой — пешком, хотя, по должности, мог вызвать дежурную машину. Ему казалось, что воспользоваться каким-либо преимуществом, благом, недоступным Радио Кварку, было бы предательством по отношению к нему, актом двуличия и безнравственности. Он, правда, и прежде часто отказывался от машины, если позволяло время, — нравилось неторопливо шагать по тротуару в тысячелицей толпе спешащих по делам или прогуливающих горожан. Ему было отлично известно, что многие осуждают подобную экстравагантность, находят ее вызывающе несолидной и даже расценивают как отступничество. Что ж, в логике им не откажешь: безучастность к привилегиям, которые дает определенное положение в обществе, чревата прохладным отношением к обязательствам перед кланом и, следовательно, есть нарушение правил игры. Он слишком давно вращался по номенклатурной орбите, чтобы не понимать опасности такого поведения. Однако стоял на своем — из упрямства и потому, что нравилось.

А теперь у редактора появилась еще и возможность сравнить себя с великолепным Дураком, с «белой вороной» из фантастического города Утилиборга. И он сравнил, и, сбившись с шага, приостановился под спящим стариком тополем, рассмеялся торжествующе-раскрепощенно, гордо, весело... Словом, полагать, что опубликование в одном из субботних выпусков вечерней газеты фантастического рассказа «Троянский конь пришельцев» стало главной, тем паче единственной причиной последовавшей затем скорой отставки редактора, было бы легковесной поспешностью в выводах.

...Призрачный предутренний час, время смазанных полутеней, невнятных звуков, лишенных постоянства текучих объемов, которые с сухим шуршанием скатывают-

ся по пологим склонам спящего мироздания, глухая пора, когда в картине бытия доминируют искривленные линии, размытые контуры, блеклые цвета, — хаос, муть, из которых рождается уродливо искаженное восприятие действительности... Мерцающий шар Земли, сдавленный на полюсах, придушенный в ладонях тяготения, еще не достиг меридианом, где находится город, низвергающегося в космическую бездну солнечного светопода, а лучи усталых звезд уже по касательной, неощутимо скользят вдоль отшлифованной временем и вселенской пылью сферической оболочки планеты, бесплодно проносятся мимо, срываются в никуда... У мироздания «мертвый час» — безвременье, отсутствие пределов, всевластие неопределенного, преходящего, зыбкого, диктатура случайности, незащищенность разума и добра. Идеальные условия для разгула всякой нечисти, сил разрушения и распада, что затаенно гнездятся в человеческой душе, дожидаясь стимулирующего толчка извне!

Пришельцы, на протяжении десятилетий осаждавшие город, в котором жили Радий Кварк и редактор, научились искусно и ловко использовать этот короткий отрезок суточного цикла. Безвременье, сразу оцененное ими как совокупность благоприятствующих факторов, многократно повышало эффективность действия Индукторов Проникновения. Боевые установки работали в оптимальном режиме, и вездесущие юркие агенты ипогалактической цивилизации внедрялись в психику землян практически беспрепятственно — вращались все глубже, укоренялись с победоносной легкостью патогенных бактерий, не встречающих сопротивления иммунных сил... У реальных космических завоевателей нет чудо-дубликатора, придуманного фантастом заодно с оскалианцами. Их абсолютное оружие неизмеримо мощнее, проще, надежнее. И оно неотвратимо.

Агрессии предшествовало длительное всестороннее изучение внутреннего мира хомо сапиенс. Результатом стал фундаментальный труд, легший в основу «Ин-

струкции по Пропикновению». Краткая выдержка из последней:

«Людам присуща страсть к обладанию. Круг вожаде-ленного необъятен: от красивой безделушки до власти над миллионами себе подобных. Однако в различных особях рода хомо сапиенс отмеченное свойство развито в различной степени; подчас оно, как ни странно, остается в зачаточной стадии всю жизнь. Наша единственная цель — максимально задействовать эту потенцию, возвести ее в категорию мотива, силы, которая будет управлять чувствами, помыслами, поступками людей, человечества в целом. Остальное они сделают сами. **ВНИМАНИЕ!** Непременное условие успеха — абсолютная секретность стратегического плана. Если хотя бы **ОДИН** землянин пропикнет в тайну, провал кампании неминуем...»

Итак, вместо «дубликатора» упомянутые «агенты» — несравненно более могущественное, действительно *абсолютное* оружие. Если оперировать земными понятиями, «агенты» и в самом деле были болезнетворными бактериями, специфическими, инопланетного происхождения, патогенными микроорганизмами.

Зараженные чумой крысы, которых осаждавшие напускали когда-то на осажденных. Современное биологическое оружие, смертоносная зараза, консервируемая в порошках и суспензиях и служащая начинкой для обычных боеприпасов. Убивающий в человеке человеческое вирус жадности, стяжательства, накопительства, карьеризма, беспринципности, расчетливой холодной жестокости, равнодушия и, наконец, совместными усилиями этих кровных родственников произведенное на свет уродливое убогодочное дитя — Бездуховность... Какая, в принципе, разница?

Осада города длится уже многие годы. До его окончательного падения пока не близко, зато падение пред-решено, неизбежно... Иногалактические захватчики не торопятся. Наверное, продолжительность их жизни зна-

чительно превышает человеческую. Очень может быть, что она измеряется не одной сотней лет. Не исключено, что десятками столетий.

В ту знаменательную субботу, читая, затем дважды перечитывая «Троянского коня пришельцев», редактор обнаружил много совпадений между тем, что было в рассказе, и тем, что он на каждом шагу видел вокруг; видел, искал и не мог найти оправдания, а часто и объяснения. Потому и не устоял — вопреки огромному жизненному опыту и предостерегающему голосу здравого смысла — перед искушением напечатать странный, вызывающе-едкий и одновременно исполненный трогательного простодушия «опус» юного возмутителя спокойствия. Подписывая рассказ к печати, ставя в номер, редактор не сомневался, что полностью отдает себе отчет в последствиях такого решения.

Он ошибся.

Наступило призрачное предутреннее безвременье — «мертвый час» мироздания, когда стерты границы, искривлены линии, обесцвечены краски, искажены восприятия — пора разгула всякой нечисти, сил распада и разрушения, незащищенности разума и добра... Но Индукторы Проникновения бездействовали.

Город спал, не зная, что впервые за долгое-долгое время не подвергается иссушающему души облучению.

Мерцающий шар Земли достиг в стремительном коловращении пределов солнечного светопода — ворвался в его вечное сияние меридианом, на котором стоит город, — и сам сделался яркой живой звездой.

Пробудились цветы, вострепнулись и запели птицы, улыбнулись, не проснувшись, дети.

Сеанс Проникновения не состоялся, потому что нака-

пуне вечером вышел номер газеты с рассказом Радия Кварка на четвертой полосе.

С первых дней осады пришельцы зорко следили за каждым шагом каждого горожанина, фиксируя не только поступки, но и побуждения людей — даже во сне. Информация тщательно анализировалась на предмет оценки действенности «абсолютного оружия», надежности систем Индукторов Проникновения. Насущная важность контроля за ситуацией в подобных случаях понятна. Она становится необходимостью в свете выдвинутой агрессором сверхзадачи: если эксперимент удастся — быть глобальной экспансии!

Процесс Внедрения проходил нормально по всем параметрам.

По мере того, как истекали годы (позднее — месяцы, недели, дни и даже часы), среди осажденных появлялось все больше носителей страшного вируса. Сначала лишь немногие вдруг замечали, что они, оказывается, готовы ради повышения по службе, новой квартиры, похвалы начальства, ученой степени, теплого местечка, дорогой вещи — вообще благополучия ради — совершить прежде не свойственный им дурной, низкий, бесчестный, аморальный поступок. В дальнейшем такие люди стали исчисляться сотнями, тысячами, десятками тысяч. Настало время, когда подлость уже не возмущала, не рассматривалась общественным мнением как нечто из ряда вон выходящее, постыдное, недостойное. Напротив, с недоумением, потом с иронией, наконец — осуждением, в лучшем случае с презрительной жалостью говорили теперь о тех, кто не умел или не хотел лгать, ловчить, пресмыкаться перед сильными, давить слабых, обирать доверчивых — и хватать, хватать, хватать... Смешались понятия, и зло почиталось добром, и законы, изначально призванные оберегать правду от неправды, действовали в обратную сторону.

В последние два-три года чуть ли не в геометрической прогрессии множились люди, которые внутренние

уже ничем не отличались от проникших в их души агентов иномирян. Сходство было настолько полным, что этих людей пришельцы называли, как и самих агентов, антихомо.

Наблюдения подтверждали безусловную правильность центрального тезиса «Инструкции по Проникновению»: «Остальное они сделают сами...»

Разумеется, в условиях тотального контроля за населением мимо заинтересованного внимания пришельцев не могла пройти бессонная ночь Радия Кварка, когда в порыве вдохновения (теперь его, пожалуй, вернее назвать озарением) он создавал свой фантазмагорический рассказ. Оперативно поступившая по этому поводу информация вызвала в милитаристской верхушке иномирян замешательство, переходящее в смятение. Неужели крах? Неужели десятилетия тяжкого ратного труда пропали даром?! Неужели нашелся ренегат, раскрывший противнику стратегический замысел?! Но довольно скоро, опираясь на глубокие и обширные знания ведущих закономерностей общественного бытия горожан, представители неземной цивилизации пришли к успокоительному выводу: такой рассказ никогда не будет напечатан! ...Что ж, тем сильнее была растерянность перед свершившимся фактом. Ошеломленные, совершенно деморализованные больше внезапно, чем его грозным смыслом и роковыми последствиями, они поспешно сняли осаду. Полночь не успела наступить, а на Земле уже не было ни одного пришельца. Наша планета вновь — кто знает, в который раз? — избежала гибели... нет, худшего — опасности перестать быть Землей.

Город безмятежно спал, не подозревая, что нашествие прекратилось, как десятилетиями не подозревал о том, что он осажден. Начиналось мучительное время выздоровления. Оно обещало затянуться надолго: до утра успели народиться многие десятки новых антихо-

мо — еще недавно нормальных, однако не устоявших перед агентами Проникновения людей... И все-таки исцеление началось.

От автора:

Таково содержание рукописи, с которой меня познакомил приятель, тоже редактор, только журнала, и вполне реальный сосед по лестничной площадке. Не возьмусь оценивать ее идейно-художественные достоинства и недостатки. Скажу лишь, что рукопись заинтересовала меня принадлежностью к весьма скупо представленному в нашей литературе жанру «матрешек», или «слоеных пирогов», как я его для себя определяю. Думаю, классическим образцом здесь может служить роман О. Генри «Короли и капуста» — этот искусно сплетенный, мастерски прочно сбитый венок повелл, вместе создающих нечто новое и радостно-неожиданное — эпическое полотно-новеллу. В данном случае палицо та же архитектуроника фабулы: один сюжет включает в себя другой, в конце же вдруг открытие — оба помещены в рамки третьего сюжета... Чем не «матрешки»?

Мой приятель-редактор ворчливо сказал:

— Ни за какие коврижки не напечатаю! Не из осторожности — слава богу, прошли времена, когда приходилось осторожничать. И не потому, что слишком велик для нашего еженедельника. Ты мой принцип знаешь: нет на свете текста, который было бы невозможно сократить, причем ничуть он от сокращения не пострадает — только выиграет. Любой! И не из-за того не стану печатать, что автор, как говорится, безвестный — точь-в-точь этот его Радий Кварк... — Он подозрительно спросил: — Надеюсь, веришь, что мне плевать на «имена» — была бы искра божья?

Я кивнул. Он и правда был свободен от гипноза

авторитетов — как подлинных, так и дутых, отчего постоянно имел неприятности.

Редактор продолжал более миролюбиво:

— Честно говоря, что-то в этой дилетантской писанине есть... Может, наивность, мальчишеский радикализм, искренность? Заметил, как неподдельно, всеми печенками он ненавидит всякого рода вонючих прагматиков, дельцов, рвачей?.. — Видимо, мой приятель поймал себя на том, что пользуется терминологией Радия Кварка и придумавшего его автора. Он решительно заявил: — Однако это, в сущности, не рассказ, а черт знает что. Слишком много фантазии, чересчур смелое воображение! — Виновато заглянул мне в глаза, словно бы с некоторым недоумением сказал: — Но, с другой стороны, может ли воображение быть для писателя недостатком?.. — И опять взъерился: — А не напечатаю я его за нахальство! Обратил внимание, к чему сей Макиавелли клонит? Молодец, мол, редактор той «Вечерки», решился-таки, наперекор «позорному благородумию», опубликовать подобный «опус» — и тем самым, ни много, ни мало, Землю спас... Поддержите же, товарищи редакторы, прекрасный почин, все как один следуйте благородному примеру! Кто знает, не в ваши ли руки попала ненароком судьба человечества... — Он язвительно фыркнул. — Не на того нарвался, милый! Я старый волк, стреляный воробей, меня на мякине не проведешь... Все эти авторы об одном мечтают — напечататься и ради этого на все способны! — Вызывающе на меня уставился: — Может, спорить станешь?

Опровергать его значило бы покривить душой. Я промолчал.

А через полторы недели рассказ был опубликован в его журнале. В рекордно короткий срок, без сокращений и правки! Почему?

Но не это важно — другое. Прошло совсем немного времени, и «слоеный пирог» заметно потолстел... или, если хотите, родилась еще одна «матрешка». Сенсация!

Сразу несколько астрономов в разных регионах планеты приняли и расшифровали поступившие из дальнего космоса сигналы. Для серьезного ученого несолидно заявлять, будто радиоволны, к тому же неземного происхождения, могут иметь какую-либо эмоциональную окраску. А тут астрофизики утверждали: сигналы идентичны, и в перехваченном обрывке фразы отчетливо слышны разочарование, досада, горечь от вынужденной капитуляции, бессильная ярость перед лицом непреодолимого препятствия, прямо-таки пчеловеческий крик ненависти к тому, с чем не удалось совладать.

«ЗЕМЛЮ СПАСАЮТ ПРЕКРАСНОДУШНЫЕ...»

Даже младенцу было ясно, что именно надо понимать под многоточием. Однако ученые, в силу традиционной добросовестной осторожности, не допустили в экстренном бюллетене никакой отсебятины. Впрочем, не исключено также, что только щепетильность помешала им употребить слово, которое на всех языках звучит в общем невинным, но все же ругательством.

Содержание

Космический корабль	5
Вечный двигатель	15
Маяк на Дельфиньем	23
Отпуск на Земле	29
Стоянка	72
Полет стажера	97
Ботинки для космонавта	202
Слишком много воображения	223

Осинский В. В.

84P7 Маяк на Дельфиньем : Фантаст. рассказы и повести. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 253[3] с., ил. — (Б-ка советской фантастики).

ISBN 5-235-00511-2

В новую книгу В. Осинского — своего рода итог двадцатилетних творческих поисков тбилисского прозаика — включены фантастические произведения, разные по форме, характеру рассматриваемых проблем. Их объединяет нравственно-эстетическая позиция автора: на основе драматических коллизий извечного противоборства Добра и Зла утверждаются общечеловеческие духовные ценности.

О 4702010201—249
078(02)—89 — 145—89

ББК 884P7.

ИБ № 6729

Осинский Владимир Валерианович

МАЯК НА ДЕЛЬФИНЬЕМ

Заведующий редакцией В. Щербанов

Редактор Т. Журавлева

Художник О. Путилин

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор Т. Шельдова

Корректор В. Назарова

Сдано в набор 27.02.89. Подписано в печать 07.07.89. А00932. Формат 70×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,2. Усл. кр.-отт. 11,55. Учетно-изд. л. 11,5. Тираж 100 000 экз. Цена 1 руб. Изд. № 956. Заказ 9—405.

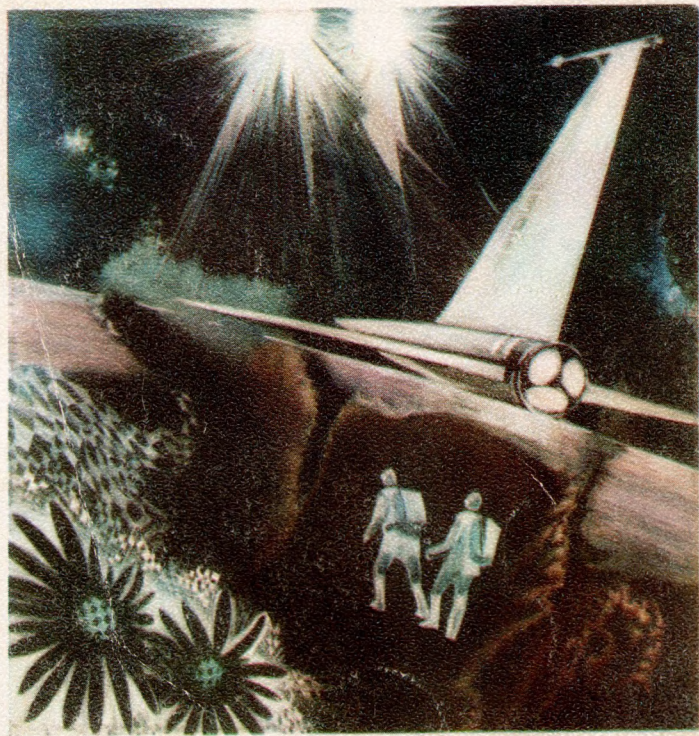
Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

Отпечатано на полиграфкомбинате ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44.

ISBN 5-235-00511-2

1 руб.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



В. ОСИНСКИЙ МАЯК НА ДЕЛЬФИНИИ

